

Джованни Казанова

История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 3



История Жака Казановы

Джованни Казанова

**История Жака Казановы
де Сейнгальт. Том 3**

«Автор»

1789

Казанова Д. Д.

История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 3 / Д. Д. Казанова — «Автор», 1789 — (История Жака Казановы)

«Мне 23 года. На следующую ночь я должен был провести великую операцию, потому что в противном случае пришлось бы дожидаться полнолуния следующего месяца. Я должен был заставить гномов вынести сокровище на поверхность земли, где я произнес бы им свои заклинания. Я знал, что операция сорвется, но мне будет легко дать этому объяснение: в ожидании события я должен был хорошо играть свою роль мага, которая мне безумно нравилась. Я заставил Жавотту трудиться весь день, чтобы сшить круг из тринадцати листов бумаги, на которых нарисовал черной краской устрашающие знаки и фигуры. Этот круг, который я называл максимум, был в диаметре три фута. Я сделал что-то вроде жезла из древесины оливы, которую мне достал Джордже Франсиа. Итак, имея все необходимое, я предупредил Жавотту, что в полночь, выйдя из круга, она должна приготовиться ко всему. Ей не терпелось оказать мне эти знаки повиновения, но я и не считал, что должен торопиться...»

© Казанова Д. Д., 1789

© Автор, 1789

Содержание

Глава I	6
Глава II	14
Глава III	23
Глава IV	31
Глава V	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Джованни Казанова
История Жака Казановы де Сейнгальт,
венецианца, написанная им самим
в замке Дукс, Богемия, том 3

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Глава I

Я пытаюсь провести свою магическую операцию. Ужасная буря. Мой страх. Жавотта остается в чистоте. Я бросаю дело и продаю ножны Капитани. Я снова встречаю Джульетту и мнимого графа Сели, ставшего графом Альфани. Я решаю уехать в Неаполь. Меня швыряет на другой путь.

1748 г.

Мне 23 года.

На следующую ночь я должен был провести великую операцию, потому что в противном случае пришлось бы дожидаться полнолуния следующего месяца. Я должен был заставить гномов вынести сокровище на поверхность земли, где я произнес бы им свои заклинания. Я знал, что операция сорвется, но мне будет легко дать этому объяснение: в ожидании события я должен был хорошо играть свою роль мага, которая мне безумно нравилась. Я заставил Жавотту трудиться весь день, чтобы сшить круг из тринадцати листов бумаги, на которых нарисовал черной краской устрашающие знаки и фигуры. Этот круг, который я называл *максимус*, был в диаметре три фута. Я сделал что-то вроде жезла из древесины оливы, которую мне достал Джордже Франсиа. Итак, имея все необходимое, я предупредил Жавотту, что в полночь, выйдя из круга, она должна подготовиться ко всему. Ей не терпелось оказать мне эти знаки повиновения, но я и не считал, что должен торопиться.

Предупредив ее отца Джордже и Капитани, чтобы были на балконе, как для того, чтобы быть готовыми выполнять мои распоряжения, если я позову, так и для того, чтобы помешать домашним выходить посмотреть, что я буду делать, я облачился во все дурацкое одеяние: я надел большой балахон, которого касались только чистые руки девственной Жавотты, затем распустил свои длинные волосы, надел на голову семиконечную корону, на плечи – круг *максимус* и, зажав в одной руке жезл, а в другой – тот самый нож, которым Св. Петр отсек когда-то ухо Малху, я спустился во двор и, разостлав на земле *максимус* и обойдя его вокруг три раза, запрыгнул внутрь.

Посидев так на корточках две-три минуты, я поднялся, оставаясь недвижимым и глядя на черную большую тучу, поднимающуюся на горизонте с востока, и слушая сильные раскаты грома, доносящиеся с той же стороны. Как было бы замечательно, если бы я мог это предвидеть! Раскаты нарастали по мере того, как туча приближалась, не оставляя на небосклоне сзади себя ни проблеска света, в то время как вспышки молний делали ужасную ночь более светлой, чем день.

Происходящее было вполне естественно, у меня не было ни малейшего повода удивляться, но, несмотря на это, пробравший меня страх заставил желать оказаться в своей комнате, и я дрожал, слыша и наблюдая молнии, возникающие с нарастающей частотой. Их зигзаги, окружая меня, леденили мне кровь. В ужасе, охватившем меня, я был убежден, что молнии, окружающие меня, не поражают меня только потому, что не могут проникнуть внутрь круга. Из-за этого я не решался выйти из него, чтобы спастись. Без этого ошибочного предположения, пришедшего мне в голову от страха, я не остался бы на месте и минуты, и мое бегство открыло бы Франсиа и Капитани, что я совсем не магик, а просто жулик. Сила ветра, ужасные порывы, страх вместе с холодом заставляли меня дрожать как лист. Мои убеждения, которые я полагал способными выдержать все, улетучились. Я столкнулся с Божественным мстителем, который настиг меня, чтобы воздать мне за все мои злодеяния и положить конец моему неверию, наказав смертью. В бесполезности моего раскаяния меня убеждало то, что я оказался фактически обездвижен.

Но вот начался дождь, я не слышал больше грома, не видел вспышек молний, и я почувствовал, как возвращается моя смелость. Но что за дождь! Это был падающий с неба поток,

который все бы затопил, если бы продлился более четверти часа. Но дождь кончился, и не стало ни ветра, ни темени. Небо без единой тучки явило мне посередине луну, более прекрасную, чем всегда. Я вышел из круга и, приказав двум друзьям идти спать, не говоря мне ни слова, пошел к себе в комнату, где с первого взгляда увидел Жавотту, столь красивую, что она внушила мне страх. Не глядя на нее, я дал ей вытереть меня и жалким тоном приказал идти спать в свою кровать. Она сказала мне на другой день, что я дрожал, несмотря на летнюю жару, и напугал ее.

После восьмичасового сна я почувствовал, что сыт этой комедией. При появлении Жавотты я был удивлен, что она мне показалась другой. Она не представлялась мне больше существом другого пола, я не чувствовал себя иным, чем она. Мне пришла в голову суеверная идея, что состояние невинности этой девочки находится под защитой, и что я буду поражен до смерти, если осмелюсь на него покуситься. При таком своем решении я видел только, что ее отец Франсиа будет менее обманут, а она менее несчастна, по крайней мере с ней не случится того, что произошло с бедной Люсией из Пасеан.

После того, как Жавотта стала в моих глазах орудием божественного гнева, я решил тут же уехать. Мое бесповоротное решение было вызвано страхом, паническим, но вполне разумным. Несколько крестьян могли видеть меня в круге и, решив, что буря была вызвана моими магическими действиями, могли обвинить меня перед Инквизицией, которая, не теряя времени, завладела бы моей персоной. Устрашенный этой возможностью, пагубной для меня, я позвал в свою комнату Франсиа и Капитани и сказал им в присутствии Жавотты, что должен отложить операцию в силу соглашения, которое я заключил с семьей гномами, охраняющими сокровище, в силу чего они дали мне отчет обо всем, что меня интересовало. Этот отчет я представил Франсиа в виде следующего письма, подобное которому я передал Капитани в Мантуе:

– Сокровище, которое хранится здесь на семнадцати с половиной туазах под землей, лежит уже шесть веков. Оно состоит из алмазов, рубинов и изумрудов и ста тысяч ливров золотого песка. Все это заключено в сундуке, который Годфрид Бульонский захватил у Матильды графини Тосканской в году 1081, когда хотел помочь императору Генриху IV выиграть битву против этой принцессы. Он закопал это сокровище здесь, где оно и находится до сих пор, прежде чем идти осаждать Рим. Григорий VII, который был великим магом, узнал, где зарыт сундук, и вознамерился его выкопать сам, но умер, прежде чем смог осуществить свой проект. В году 1116, когда умерла графиня Матильда, Гений гномов, который ведает зарытыми сокровищами, назначил этому семь стражей.

Выдав ему эту записку, я предложил ему на выбор ждать меня, либо довериться тому, кто даст ему описание сокровища, совпадающее с тем, что я ему даю. Я сжег корону и круг, велел ему сохранять остальное до моего возвращения, и отправил немедленно Капитани в Чезену ждать в почтовой гостинице человека, которого Франсиа отправит туда со всем нашим добром.

Видя Жавотту безутешной, я отвел ее в сторону и заверил, что она меня увидит через какое-то время. Было особой деликатностью с моей стороны, что я счел себя обязанным сказать ей, что ее девственность отныне не является необходимой для извлечения сокровища, она свободна и вольна выйти замуж, если представится случай.

Я отправился пешком в Чезену и в гостиницу, где нашел Капитани, решившего вернуться в Мантую после заезда на ярмарку в Луго. Он сказал мне, проливая слезы, что его отец будет безутешен, увидев его вернувшимся без ножа Св. Петра. Я предложил ему вернуть нож вместе с ножнами, если он хочет купить их за пятьсот римских экю, которые значатся в векселе, который он мне передал. Сочтя эту сделку очень выгодной, он сразу согласился, и я вернул ему вексель. Я дал ему подписать расписку, согласно которой он обязуется вернуть мне мои ножны, когда я верну ему эту сумму в 500 римских экю. Я не знал, что делать с этими ножнами, и не нуждался в деньгах, но мне казалось, что отдать их ему просто так было бы стыдно и означало, что я не придаю им никакого значения. Так сложилось, что мы увиделись лишь спустя долгое время, и

когда я оказался не в состоянии отдать ему 250 цехинов. По этому случаю моя шалость привела к тому, что я выручил эту сумму, не огорчая Капитани, потому что, имея ножны, он считал себя хозяином всех кладов на территории Папского государства.

Капитани выехал на другой день, и я, в свою очередь, отправился бы в Неаполь не теряя времени, если бы не случилось так, что мне пришлось изменить свои планы.

Хозяин театра дал мне отпечатанный листок, на котором объявлялось для публики о четырех представлениях Дидоны Метастазиио на театре Спада. Я прочитал список актеров и актрис и, увидев, что никого не знаю, решил остаться, чтобы посмотреть первое представление, и выехать назавтра на рассвете в почтовой карете. Некоторый страх Инквизиции не заставил меня торопиться; и вообще, мне казалось, что волков бояться – в лес не ходить¹.

Я вошел в зал до начала представления и увидел одевающихся актрис, и среди них премьершу, на мой взгляд, довольно привлекательную. Она была из Болоньи и ее звали Нариччи. Отвесив реверанс, я спросил ее, хозяйка ли она себе; она ответила, что ангажирована антрепренерами Рокко и Ардженти. Я спросил далее, есть ли у нее любовник, на что она ответила, что нет; я предложил ей, в тон, себя, что она восприняла со смехом; она предложила мне взять за два цехина четыре билета на четыре представления. Я дал два цехина, взял четыре билета девочке, которая ее причесывала, более симпатичной, чем она. После этого я ушел; она меня окликнула, но я не обернулся. Я вышел из дверей, взял билет в партер и пошел садиться. После первого балета, найдя все плохим, я хотел уйти, когда увидел в большой ложе, к моему великому удивлению, венецианца Манцони с Джульеттой *Ла Камаччи*, которую читатель, возможно, помнит. Видя, что меня не заметили, я спрашиваю у соседа, кто эта дама, которая блистает ярче, чем ее бриллианты. Он отвечает, что это мадам Кверини, венецианская дама, которую генерал граф Бонифацио Спада, хозяин театра, которого я вижу рядом с ней, привез из Болоньи и из Фаенцы, своей родины. Счастливым узнать, что г-н Кверини наконец женился, я и не подумал подойти. Я должен был бы титуловать его Сиятельством, а я этого не хотел; я не хотел быть узан, а кроме того, я мог бы быть плохо принят. Читатель может вспомнить наши трения, когда она захотела, чтобы я одел ее аббатом.

Однако в тот момент, когда я собрался уйти, она меня замечает и окликает из-под веера. Я подхожу и говорю ей тихо, что, не желая быть узанным, я зовусь Фарусси. Г-н Манцони говорит мне также тихо, что я говорю с м-м Кверини. Я отвечаю, что знаю об этом из письма, полученного мной из Венеции.

Джульетта, в свою очередь, присваивает мне тут же титул барона и представляет графу Спада. Этот сеньор зовет меня в свою ложу и, узнав, откуда и куда я направляюсь, приглашает на ужин.

Десять лет назад он был другом Джульетты в Вене, когда августейшая Мария-Терезия, видя дурное влияние ее прелестей на нравы, велела ей уехать. Она возобновила с ним знакомство в Венеции, откуда пригласила вместе с собой в поездку в Болонью; г-н Манцони, ее давний любовник-для-души (*guerluchon*), рассказавший мне все это, сопровождал ее, чтобы иметь возможность дать отчет о ее хорошем поведении г-ну Кверини. В Венеции она хотела, чтобы все считали, что они тайно женаты; но в пятидесяти лье от родины она не считала обязательным соблюдать секрет. Генерал представлял ее теперь всей знати Чезены как м-м Кверини Папоцце. Г-н Кверини, впрочем, был неправ, ревнуя ее к генералу, поскольку это было давнее знакомство. Женщины считают, что любой последний по счету любовник, проявляющий ревность по отношению к прежним знакомым, – последний дурак. Джульетта сразу позвала меня, опасаясь моей нескромности, но видя, что я должен опасаться того же с ее стороны, успокоилась. Я, впрочем, стал обращаться к ней со всей обходительностью, которой она была достойна.

¹ il me semblait déjà d'avoir des mouches à mes trousses

Я нашел у генерала большую компанию и довольно симпатичных женщин. Я напрасно искал Джульетту: г-н Манцони сказал, что она сидит за столом игры в фараон, где проигрывает свои деньги. Я направляюсь туда и вижу ее сидящей слева от банкира, который при виде меня бледнеет. Это был так называемый граф Сели. Он предлагает мне «книжечку»², от которой я вежливо отказываюсь, соглашаясь одновременно с предложением Джульетты войти в игру с нею пополам. Перед ней лежит пятьдесят цехинов, я докладываю свои пятьдесят и сажусь рядом с ней. К концу тальи она спрашивает у меня, знаю ли я банкира, и я понимаю, что они знакомы; я отвечаю, что нет, И дама, сидящая слева от меня, говорит, что это граф Альфани. Полчаса спустя м-м Кверини, которая проигрывает, объявляет «семь к сдаче» и идет на десять цехинов. Это смело. Я встаю и фиксирую глаза на руках банкира; но это неважно: он открыва-ется, и карта мадам бита. В этот момент подходит генерал и зовет ужинать, она уходит, бросив на столе остаток своего золота. К десерту она возвращается к игре и проигрывает все.

Забавные историйки, которыми я оживляю этот ужин, доставляют мне симпатии всей компании, но, главным образом, генерала, который, слыша, что я направляюсь в Неаполь един-ственно ради любовного каприза, стал уговаривать меня провести месяц с ним, пожертвовав ради него этим капризом; однако его уговоры были тщетны, поскольку, с опустошенным серд-цем, мне не терпелось увидеть перед собой Терезу и даму Лукрецию, прелестные лица кото-рых я по истечении пяти лет представлял себе лишь смутно. Я согласился, однако, оказать ему любезность и остаться в Чезене на те четыре дня, что он решил там побыть.

На другой день, в то время, как меня причесывали, я увидел этого труса Альфани. Я встретил его с улыбкой, говоря, что жду его. Он ничего мне не ответил при парикмахере, но как только тот ушел, спросил, зачем я жду.

– Затем, что вы, возможно, сразу же вернете мне сто цехинов.

– Ну вот полсотни. Вы не можете требовать больше.

– Я возьму их в зачет; но предупреждаю вас, что из чувства гуманизма вы не должны этим вечером появляться у генерала, потому что вас там не примут, я позабочусь об этом.

– Надеюсь, что прежде чем так дурно поступить, вы подумаете.

– Я уже подумал. Быстро, идите вон.

Что могло также заставить его уйти, был визит первого кастрата оперы, который пришел пригласить меня обедать к Ла Наричи. Это приглашение заставило меня рассмеяться, я согла-сился. Его звали Николас Перетти, считалось, что он побочный сын Сикста-Квинта³. Мы пого-ворим об этом шуте, когда я окажусь в Лондоне, через пятнадцать лет после этой эпохи.

Придя к Наричи на обед, я вижу графа Альфани, который, разумеется, не ожидал меня здесь увидеть. Он попросил выслушать пару слов наедине.

Если я дам вам еще пятьдесят цехинов, – сказал он, – вы, как благородный человек, не можете взять их у меня иначе, чем для того, чтобы отдать их м-м Кверини, а вы можете отдать их ей только, если скажете, что вы обязали меня отдать их себе. Таковы обстоятельства.

– Я отдам их ей, когда вас здесь не будет, а пока я буду сдержан; но берегитесь исправлять фортуна в моем присутствии, потому что я сыграю с вами дурную шутку.

– Удвойте мой банк, и будете иметь половину.

Это предложение заставило меня рассмеяться. Он дал мне пятьдесят цехинов, и я сказал, что буду молчать. Компания у Наричи состояла из большого числа молодых людей, которые после обеда проиграли все свои деньги. Я не играл. Игра меня не привлекала, потому что я был более стоек, чем другие. Оставаясь зрителем, я увидел, насколько Магомет был прав, запретив в своем Коране азартные игры.

² карту для игры – прим. перев.

³ один из пап

После оперы состоялся банк, я играл и проиграл две сотни цехинов, но мог жаловаться только на фортуна. М-м Кверини выиграла. Назавтра перед ужином я ее почти разорил и после ужина пошел спать.

На следующее утро, в последний день моего там пребывания, я наблюдал у генерала, как его адъютант бросил ему карты в нос, и он должен был после полудня объясниться с ним или обменяться ударами шпаги. Я пошел в его комнату, чтобы составить ему компанию, заверяя в то же время, что дело не стоит пролития крови. Он поблагодарил меня, и, придя на обед, сказал мне, смеясь, что я был прав. Граф Альфари уехал в Рим. Я сказал честной компании, что сам составлю им банк. Но вот что м-м Кверини мне ответила, когда, увидевшись с ней тет-а-тет я хотел отдать ей пятьдесят цехинов, которые, по совести, был ей должен, рассказав при этом, каким образом заставил негодяя их мне вернуть.

– С помощью этой басни, – сказала мне она, – вы хотите сделать мне подарок в пятьдесят цехинов; но знайте, что я не нуждаюсь в ваших деньгах, и я не такая, чтобы опуститься до воровства.

Философия запрещает мудрому раскаиваться в совершении доброго дела, но позволяет сердиться, когда злая интерпретация придает этому делу видимость мерзости.

После оперы, где давали последнее представление, я держал банк у генерала, как и обещал ему, и немного проиграл; все меня любили. Это гораздо приятней, чем выигрывать, если над игроком не довлеет нужда и он не слишком падак до денег. Граф Спада звал меня пойти с ним к Бризигелле, но безуспешно, потому что мне не терпелось ехать в Неаполь. Я обещал повидаться с ним еще завтра за обедом.

На другой день, рано утром, я проснулся от необычайного шума в зале, почти перед дверью в мою комнату. Через минуту я услышал шум в соседней комнате. Я вскакиваю с кровати и быстро открываю дверь, чтобы взглянуть, что происходит. Я вижу банду сбиров⁴ в открытых дверях комнаты и вижу там сидящего в постели мужчину с приятным лицом, который кричит на латыни на этих каналий и на хозяина, находящегося там, который посмел открыть его дверь. Я спрашиваю хозяина, что происходит.

– Этот господин, – отвечает он, – который, по-видимому, говорит только по-латыни, лег с девушкой, и стражники епископа пришли выяснить, жена ли она ему – все очень просто. Если она жена, то ему нужно будет показать им какой-нибудь сертификат, и это все, но если нет – придется ему пойти вместе с ней в тюрьму; но этого не случится, поскольку я берусь уладить дело миром с помощью двух-трех цехинов. Я поговорю с их начальником, и все эти люди уйдут. Если вы говорите на латыни, зайдите и заставьте его внять резонам.

– Кто взломал дверь комнаты?

– Ее не взломали – это я открыл ее, это моя обязанность.

– Это обязанность вора с большой дороги.

Возмущенный таким безобразием, я не мог устраниваться от вмешательства. Я вхожу и объясняю мужчине в ночном колпаке все обстоятельства этой неприятности. Он отвечает мне, смеясь, что, во-первых, они не могут знать, что персона, лежащая с ним – девушка, так как они видели ее только одетой по-мужски, и во-вторых, он считает, что никто в мире не имеет права требовать отчета, жена это его или любовница, если допустить, что существо, лежащее с ним, действительно женщина.

– Впрочем, – говорит он, – я твердо решил не платить ни гроша для прекращения этого дела и не сойти с кровати, пока не закроют мою дверь. После того, как я оденусь, я покажу вам красивое завершение этой пьесы. Я прогоню всех этих негодяев ударами сабли.

Я вижу в углу комнаты саблю и венгерскую одежду, по видимости – униформу. Я спрашиваю, не офицер ли он, и он отвечает, что записал свое имя и звание в книге регистрации

⁴ стражников – *ит.*

отеля. Удивленный необычностью ситуации, я спрашиваю у хозяина, и он отвечает, что так и есть, но это не мешает церковной власти затеять этот скандал.

– Обида, которую вы собираетесь им нанести, – говорю я этому офицеру, – вам будет дорого стоять.

На этот довод они рассмеялись мне в лицо. Задетый насмешкой этих каналов, я спрашиваю у офицера, может ли он дать мне свой паспорт; он отвечает, что, имея два, может дать мне один, и, говоря так, достает его из портфеля и дает мне прочитать. Документ был от кардинала Албании. Я вижу имя офицера, звание капитана венгерского полка императрицы. Он говорит мне, что едет из Рима и направляется в Парму, чтобы передать г-ну Дютийю, премьер-министру инфанта, герцога Пармского, пакет, который доверил ему кардинал Александро Альбани.

В это время входит в комнату мужчина и просит сказать на латыни этому господину, что он хочет ехать, он не может ждать, и чтобы тот либо уладил дело с полицейскими, либо заплатил ему. Это был кучер.

Это был очевидный сговор; я попросил офицера доверить мне все это дело, заверив, что разберусь со всем по чести. Он говорит, чтобы я поступил, как считаю нужным. Я говорю кучеру, чтобы принес багаж месье, и что он получит свои деньги. Он приносит багаж, получает от меня восемь цехинов и дает квитанцию офицеру, который говорит только по-венгерски, по-немецки и на латыни. Кучер уходит, сбирь – тоже, за исключением двоих, которые остаются в зале.

Я советую офицеру не вылезать из постели до моего возвращения. Я говорю, что иду поговорить с епископом и объяснить, что тому придется принести очень серьезные извинения. Офицер в этом не сомневается, когда узнает от меня, что в Чезене находится генерал Спада: он говорит, что знаком с ним, и если бы он знал, что генерал здесь, то пристрелил бы хозяина гостиницы, который открыл сбирам дверь его комнаты. Я быстро одеваюсь в редингот и, не расплетая своих папильоток, направляюсь к епископу; наделав там шума, я велю проводить меня в комнату епископа. Лакей мне говорит, что тот еще в постели, но, не имея времени ждать, я захожу и выкладываю прелату всю историю, крича о беззаконии таких действий и ругая полицию, попирающую права наций.

Он не отвечает. Он вызывает слугу и велит выпроводить меня в канцелярию.

Я снова повторяю сквозь зубы ему всю историю, используя выражения, способные лишь вызвать гнев, а не добиться милости. Я угрожаю, я говорю, что на месте этого офицера потребовал бы решительной сатисфакции. Священник улыбается и, спросив, не болен ли я лихорадкой, предлагает пойти поговорить с начальником сбиров.

Видя, что он разозлился, и что дело дошло до того, что лишь авторитет генерала Спада может и должен покончить со всем этим к чести оскорбленного офицера и посрамлению епископа, я направляюсь к генералу. Мне говорят, что он доступен только после восьми часов, и я возвращаюсь в гостиницу.

Могло показаться, что рвение, с которым я взялся за это дело, происходило из-за моей учтивости, которая не могла допустить, чтобы так обращались с иностранцем, но моя горячность была вызвана гораздо более мощным мотивом: меня очень заинтересовала девица, лежащая с ним; мне не терпелось увидеть ее лицо. Стыдливость не позволяла ей высунуться наружу. Она меня слышала, и я был уверен, что понравился бы ей.

Дверь его комнаты была открыта, я вошел и отчитался офицеру обо всем, что сделал, заверив, что сегодня же днем он сможет уехать за счет епископа, получив с помощью генерала полную сатисфакцию. Я объяснил, что смогу увидеться с генералом только в восемь часов. Он изъявил мне свою признательность; он сказал, что уедет только завтра, и что отдаст мне восемь цехинов, заплаченных мной кучеру. Я спросил, из какой страны его спутник, и он ответил, что он француз, и что он не понимает другого языка, кроме французского.

– Ну а вы понимаете по-французски?

- Ни слова.
- Замечательно. Вы говорите между собой только жестами?
- Точно.
- Я вам сочувствую. Могу я надеяться позавтракать с вами?
- Спросите у него, хочет ли он.

Я адресую спутнику свою просьбу и вижу высунувшуюся из-под одеяла растрепанную головку, смеющуюся, свежую и соблазнительную, которая не оставляет сомнения в своей половой принадлежности, несмотря на мужскую прическу.

Очарованный этим прекрасным появлением, я говорю ей, что заинтересовался ею, еще не видя, и ее появление лишь усилило мое желание быть ей полезным и мое рвение. Она вернула мне комплимент самым прекрасным образом, со всем остроумием своей нации. Я вышел, чтобы распорядиться о кофе, и чтобы дать ей возможность сесть, потому что решили, что ни тот ни другая не будут выходить из своей комнаты, хотя дверь была открыта.

Когда появился слуга с кофе, я вошел и увидел эту француженку, в голубом рединготе, с волосами, плохо причесанными по-мужски. Я был мгновенно поражен ее красотой. Она выпила с нами кофе, ни разу не перебив офицера, который разговаривал со мной, но которого я не слушал, в восхищении от лица этого существа, которое на меня не глядело, и которому *rudor infans*⁵ моего дорогого Горация мешала произнести хоть слово.

В восемь часов я пошел к генералу и рассказал ему историю, по возможности добавив красок. Я сказал, что если он не исправит положение, офицер сочтет необходимым передать эстафету кардиналу-протектору. Но мое красноречие оказалось ненужно. Граф Спада, прочтя паспорт, сказал, что придаст этой буффонаде характер дела наибольшей значимости. Прежде всего, он велел своему адъютанту отправиться в почтовую гостиницу и пригласить к обеду офицера и его спутника, о котором никто не мог знать, девушка ли это или нет, и немедленно пойти к епископу и известить его, что офицер не намерен уезжать прежде, чем не получит сатисфакцию в той форме, которая его устроит, и сумму денег в возмещение ущерба.

Какое удовольствие для меня было стать свидетелем этой прекрасной сцены, за которой я, полный тщеславия, наблюдал как автор!

Адъютант, предводительствуемый мной, представился венгерскому офицеру, вернул ему его паспорт и пригласил пообедать вместе со своим спутником у генерала; затем он предложил ему написать, какого рода сатисфакцию он желает получить, и в какую сумму он оценивает ущерб от потерянного времени. Я быстренько зашел к себе в комнату и принес ему перо и бумагу, и он коротко и достаточно хорошей для венгра латынью написал все это. Сбиры испарились. Этот добрый капитан захотел потребовать только тридцать цехинов, вопреки тому, что я ему советовал потребовать сотню. В требовании сатисфакции он также был весьма умерен. Он захотел, чтобы хозяин и все сбиры попросили у него прощения в зале на коленях, в присутствии адъютанта генерала. В противном случае, если это не будет исполнено в течение двух часов, он отправит эстафету в Рим кардиналу Александру и останется в Чезене до получения ответа, за счет хозяина гостиницы, из расчета десять цехинов в день.

Адъютант вышел, чтобы отнести епископу это письмо. Мгновение спустя появляется корчмарь и говорит офицеру, что тот свободен; но он убегает со всех ног, когда офицер заявляет, что должен влупить ему двадцать ударов тростью. На этом я оставляю их и иду в свою комнату, чтобы причесаться и одеться перед обедом у генерала.

Час спустя я вижу их у себя, одетыми в униформу. На даме она выглядела причудливо и очень элегантно.

⁵ «Стыдливость ребенка» – Гораций, *Сат.* 6, 57

В этот момент я решил отправиться с ними в Парму. Красота этой девушки мгновенно обратила меня в рабство. Ее возлюбленный выглядел лет на шестьдесят, я нашел этот союз весьма неподходящим и рассчитывал, что смогу повернуть все любовно.

Адъютант вернулся со священником от епископа, который заявил офицеру, что тот получит в течение получаса всю сатисфакцию, которую желает, но он должен удовольствоваться пятнадцатью цехинами, так как дорога до Пармы занимает не более двух дней. Офицер отвечает, что не хочет ничего уступать, и получает тридцать, при том, что отказывается подписывать квитанцию. Так завершается это дело, и замечательная победа, увенчавшая мои усилия, доставляет мне дружбу этой пары. Чтобы убедиться, что это девушка, а никак не мужчина, достаточно взглянуть на ее талию. Любая женщина, полагающая себя красивой, не является таковой, если, облачившись в мужское платье, будет сочтена мужчиной.

Когда ко времени обеда мы вошли в залу, где находился генерал, он не замедлил представить двух офицеров присутствовавшим там дамам, которые рассмеялись при виде маскарада; но заинтересовались, узнав всю историю, и охотно согласились обедать с героями пьесы. Женщины охотно обращались к молодому офицеру как к мужчине, а мужчины оказывали ему подобающие знаки внимания, как если бы это была женщина. Единственная, кто дулся, была м-м Кверини, поскольку, замечая снижение общего внимания по отношению к себе, чувствовала себя обойденной. Она разговаривала с гостьей только для того, чтобы продемонстрировать свое знание французского языка, которым владела неплохо. Единственный, кто вовсе не разговаривал, был венгерский офицер, поскольку никто не пытался говорить на латыни, а генералу почти нечего было ему сказать на немецком.

Старый аббат, присутствовавший за столом, пытался оправдать епископа, уверяя генерала, что стражники и трактирщик действовали только по приказу Святой Инквизиции. Поэтому, говорил он, в комнатах гостиниц нет замков, чтобы иностранцы не могли запереться. Не разрешается лицам разного пола спать вместе, если они не муж и жена.

Двадцать лет спустя я наблюдал в Испании все номера гостиниц с замками снаружи, так что иностранцы, ночуя там, оказывались как бы в тюрьме.

Глава II

Я покупаю прекрасную коляску и отправляюсь в Парму вместе со старым капитаном и молодой француженкой. Я снова вижусь с Жавоттой и дарю ей пару прекрасных золотых браслетов. Мое недоумение относительно спутников. Монолог. Беседа с капитаном. Тет-а-тет с француженкой.

Странно, – говорит м-м Кверини маске, – что вы можете жить вместе, никогда не разговаривая.

– Почему странно, мадам? Мы от этого понимаем друг друга не хуже, потому что слово не необходимо в тех делах, которыми мы занимаемся вместе.

Этот ответ, который генерал перевел на добром итальянском для всей компании за столом, вызвал взрыв смеха, но м-м Кверини повела себя по-ханжески, она сочла его слишком откровенным.

– Я не знаю, – сказала она поддельному офицеру, – дел, для которых слово или, по крайней мере, письмо не является необходимым.

– Извините, мадам. Разве игра не является делом?

– Вы только играете?

– Ничего другого. Мы играем в фараон, и я держу банк.

Все захохотались от смеха, и м-м Кверини должна была рассмеяться также.

– Но банк, – говорит генерал, – выигрывает ли он помногу?

– Ох, вы об этом! Игра настолько по-маленькой, что не стоит и считать.

Никто не дал себе труда перевести этот ответ славного офицера. Ближе к вечеру компания разошлась, и каждый пожелал доброго пути генералу, который уезжал. Генерал пожелал мне также доброго пути до Неаполя, но я сказал, что сначала я хочу повидать Инфанта, герцога Пармы, служа одновременно переводчиком для этих двух офицеров, которые не могут друг друга понимать; он ответил, что если бы он был на моем месте, то поступил бы так же. Я пообещал м-м Кверини сообщать ей свои новости в Болонью, без намерения сдерживать слово. Эта любовница офицера заинтересовала меня, будучи укрытой под одеялом; она мне понравилась, когда высунула голову наружу, и гораздо больше, когда я увидел ее стоящей; но она увенчала дело, продемонстрировав за столом тот сорт ума, который я очень люблю, который редко встретишь в Италии, и часто – во Франции. Ее завоевание не казалось мне трудной задачей, я раздумывал о средствах, которыми я мог бы воспользоваться для этой цели. Полагая себя, без всякого хвастовства, более для нее подходящим, чем тот офицер, я не видел каких-либо препятствий с ее стороны. Мне представлялся в ней один из тех характеров, которые, полагая любовь пустяком, переходят к следующей, в зависимости от обстоятельств, и уступают, и готовы к возможным комбинациям, которые предоставляет случай. Фортуна не могла предоставить мне более счастливого случая, чем подвернувшаяся возможность стать компаньоном по путешествию этой пары. Я не мог себе представить, чтобы я был отвергнут, наоборот, мне казалось, что моя компания должна быть им очень дорога.

Как только мы вернулись в гостиницу, я спросил у офицера, рассчитывает ли он ехать в Парму на почтовых или в коляске. Он ответил, что, не имея своей коляски, предпочитает ехать на почтовых.

– У меня есть коляска, – говорю я, – очень удобная, в которой я предлагаю вам два места сзади, если мое общество вам не неприятно.

– Это настоящее счастье. Я прошу вас предложить эту прогулку Генриетте.

– Не хотите ли, мадам Генриетта, оказать мне честь сопроводить вас до Пармы?

– Я была бы счастлива, потому что мы могли бы разговаривать; но ваше положение будет нелегким, потому что вам придется часто играть на два фронта.

– Я готов к этому с истинным удовольствием, сожалея лишь, что наше путешествие будет слишком коротким. Мы поговорим об этом за ужином. В ожидании этого, позвольте мне отойти, чтобы закончить некоторые дела.

Дело было в коляске, которая существовала пока только в моем воображении. Я пошел в кафе «Де ла Ноблесс» и спросил там, где можно купить хорошую коляску. Мне сказали, что есть английская коляска у графа Дандини, которая продается, но которую никто не хочет покупать, потому что она слишком дорогая. За нее хотят двести цехинов, в ней два места и откидное сиденье. Это было то, что я хотел. Я велел отвести себя в каретный сарай, и нашел ее по вкусу; граф ушел ужинать в город, я пообещал купить ее завтра и вернулся в гостиницу, очень довольный. Во время ужина я заговорил с офицером только, чтобы известить его, что мы уезжаем завтра после обеда и что оплачиваем по две лошади каждый. Между мной и Генриеттой происходили долгие диалоги на множество приятных тем, во время которых я открыл в ней ум, совершенно новый для меня, который не ожидал встретить в француженке. Находя ее очаровательной и предполагая в ней авантюристку, я был удивлен, обнаружив в ней чувства, которые, как мне казалось, могли быть только результатом весьма изысканного воспитания; однако я отбросил эту мысль. Каждый раз, когда я пытался завести разговор об офицере, ее любовнике, она уходила от вопроса, но самым милым образом. Единственный вопрос, который я ей задал и на который она сочла обязанной мне ответить, – это что он не является ей ни мужем, ни отцом. Добряк задремал. Когда он проснулся, я пожелал ему спокойной ночи и отправился спать, очень влюбленный и очень довольный этой прекрасной авантюрой, которую счел полной очарования и на которую, я был уверен, у меня хватало денег, и я при этом ни от кого не зависел. Больше же всего меня радовало то, что я был уверен, что интрига завершится через два-три дня.

На другой день рано утром я отправился к графу Дандини. Проходя мимо лавки ювелира, я купил браслеты из золотых цепочек испанской работы, которые носят в Венеции, по пять аунов длиной и очень тонкой работы. Это был подарок, который я собирался сделать Жавотте.

Граф Дандини, увидев, узнал меня. Он видел меня в Падуе у своего отца, который, когда я учился там в университете, занимал кафедру пандектов. Я купил коляску, которая должна была бы стоить вдвое дороже, с условием, что он отыщет мне шорника, который доставит мне ее в полном порядке к дверям гостиницы к часу после полудня.

Оттуда я направился к Франсиа, где окунулся в радость невинной Жавотты, вручив ей браслеты, прекрасней которых не видела ни одна дочь Чезены. С помощью этого подарка я десятикратно оплатил все затраты, которые понес этот добрый человек за те десять – двенадцать дней, что я жил у него. Но гораздо более значительный подарок я сделал ему, посоветовав ждать меня и не доверять другим магикам в деле извлечения сокровища, даже если ему придется дожидаться меня десять лет. Я заверил его, что при первой же попытке, которую предпримет другой философ, гномы-хранители уведут сокровище на двойную глубину, и что в таком случае, с глубины в тридцать пять туазов, мне будет в десять раз труднее его извлечь. Я сказал ему откровенно, что не могу назвать точное время, когда он меня снова увидит, но он должен меня ждать, потому что повеление гласит, что его сокровище может быть извлечено только мной. Я сопроводил свое торжественное обещание проклятиями, которые, если он его нарушит, приведут к гибели все его семейство. Таким образом, будучи далек от намерения обмануть этого добряка, я становился его благодетелем. Он со мной больше не встретился, потому что он уже умер, но я уверен, что его наследники меня ждут, потому что мое имя Фаруччи должно остаться бессмертным в этом доме.

Жавотта пошла проводить меня почти до города Чезены, и при сердечных объятиях, которые я ей подарил при прощании, я почувствовал, что воздействие на меня страха молний уменьшается; но я поздравил себя с тем, что не настолько поддался этому злодейскому чувству, чтобы подумать о возвращении. Подарок, который я ей сделал в нескольких словах, был более

значителен, чем браслеты. Я сказал ей, что если я не вернусь в течение трех месяцев, она может смело задуматься о том, чтобы найти мужа, не опасаясь того, что ее замужество нанесет ущерб получению сокровища, которое я смогу извлечь, только если великая наука мне это позволит. Пролит несколько слезинок, она заверила меня, что исполнит то, что я ей сказал.

Так закончилось это дело с сокровищем Чезены, в котором, вместо того, чтобы быть обманщиком, я стал героем; но я не смею хвалиться, когда думаю, что если бы я смог заполучить кошелек, полный золота, я бы, смеясь, разорил бедного Франсиа, и я думаю, что любой молодой человек, имея некоторый ум, сделал бы то же самое. Что же касается Капитани, которому я продал ножны от ножа Св. Петра немного слишком за дорого, я не испытываю никаких угрызений совести, и я полагал бы себя самым большим дураком на свете, если бы раскаивался в этом сегодня; потому что сам Капитани думал, что обманул меня, согласившись принять их в залог двухсот пятидесяти цехинов, которые мне дал; а комиссар пушек, его отец, дорожил ими до самой смерти намного больше, чем бриллиантом стоимостью в сотню тысяч экю. Этот человек, умерший, пребывая в этой уверенности, умер богатым, а я умру бедным. Оставляю судить читателю, кто из нас двоих был более счастлив.

Возвратившись в гостиницу, я приготовил все для небольшого путешествия, мысль о котором в тот момент делала меня счастливым. Во всем, что говорила мне Генриетта, я находил все больше очарования, и ее ум увлекал меня еще больше, чем ее красота. Видеть офицера доставляло мне тем большую радость, чем я становился влюбленнее, и мне представлялось очевидным, что девушке не терпится сменить любовника. Я мог быть в этом уверен, не впадая в самодовольство, потому что, помимо того, что в физическом плане у меня было все, что мог бы иметь достойный любовник, чтобы нравиться, у меня была видимость весьма богатого человека, хотя у меня и не было слуг. Я говорил ей, что за удовольствие их не иметь я трачу вдвое, и что, обслуживая себя сам, я всегда уверен, что буду обслужен хорошо; притом, я уверен, что не буду обкраден, и у меня нет шпиона в моем доме. Генриетта прекрасно разделяла мои соображения, и мое грядущее счастье меня пьянило.

Почтенный офицер захотел отдать мне деньги, предназначенные на почтовое сообщение до Пармы. Мы пообедали, велели погрузить и хорошо увязать наши чемоданы и отправились в путь после вежливой дискуссии из-за места возле Генриетты, которое он хотел, чтобы занял я. Он не видел, что откидное место для моей зарождающейся любви было предпочтительней его, но я не сомневался, что Генриетта отлично это видела. Сидя напротив нее, я видел ее, не поворачивая головы, доставляя своим глазам удовольствие, которое, конечно, является наивысшим наслаждением, доступным любовнику в таких условиях.

В обстановке счастья, которое мне представлялось таким большим, я должен был терпеть неудобство. Когда Генриетта говорила забавные вещи, заставлявшие меня смеяться, я, видя огорчение венгра, лишенного возможности тоже посмеяться, чувствовал себя обязанным пересказать суть шутки на латыни, но часто пересказ был так плох, что шутка становилась пресной. Офицер не смеялся, и я чувствовал себя униженным, потому что Генриетта должна была убеждаться, что я не говорю на латыни так же хорошо, как она по-французски, и это было правдой. При изучении всех языков мира последнее, что постигается, это дух языка, и очень часто шутка выражается на жаргоне. Я начал смеяться при чтении Теренция, Плавта и Марциала только в возрасте тридцати лет.

Из-за необходимости кое-что поправить в моей коляске, мы остановились в Форли. Очень весело поужинав, я со всех ног бросился ложиться в постель в другую комнату. Эта девица дорогой показалась мне столь странной, что я испугался, что она соскочит с кровати своего друга и запрыгнет в мою. Я не знал, как венгр, который показался мне человеком гордым, сможет воспринять такое. Я стремился достигнуть обладания Генриеттой любовно и чинно, мирным и спокойным путем. У этой девицы, кроме мужской одежды, которая была на

ней, не было ни одной женской тряпки, даже рубашки. Она меняла их из рубашек своего друга. Это показалось мне внове и странным.

В Болонье в веселье ужина я спросил у нее, в результате какой странной авантюры она оказалась любовницей этого бравого малого, который, к тому же, сошел бы скорее за ее отца, чем за мужа. Она ответила с улыбкой, что я должен его самого попросить рассказать эту часть истории со всеми обстоятельствами и не отклоняясь от истины. Тогда я обратился к нему со своим вопросом, сказав, что она не возражает против рассказа. Лишь после того, как я заверил его в том, что ее это не огорчит, и повторив, что он должен рассказать все-все, он начал:

– Один офицер из моих друзей в Вене имел поручение в Риме. Я взял отпуск на шесть месяцев и отправился с ним. Я решил воспользоваться случаем увидеть великий город, рассчитывая, что латынь должна там быть по меньшей мере так же распространена, как и в Венгрии. Но я был весьма разочарован, потому что даже среди церковников мало кто владел этим языком, да и то плохо. Те, кто его знал, могли только писать и читать, правда, владели латынью во всей ее чистоте.

– По истечении месяца кардинал Александр Альбани передал моему другу депеши для доставки в Неаполь, и мы разделились; но перед своим отъездом друг рекомендовал меня кардиналу, охарактеризовав настолько хорошо, что это преосвященство сказал мне, что через несколько дней даст мне пакет с письмом, адресованным г-ну Дютийо, министру Инфанта, нового герцога Пармы, Пьяченцы и Гасталлы, оплатив, естественно, поездку. Имея намерение осмотреть порт, который древние называли *Centum cilla* и который называется теперь Чивитавеккиа, я воспользовался свободным временем и отправился туда со своим *чичероне*, говорящим на латыни.

Находясь в порту, я увидел сошедшего с тартаны старого офицера с этой девицей, одетой, как вы видите. Она меня поразила. Но я не мог и подумать, что этот офицер придет поселиться не только в той же гостинице, что и я, но в комнате, расположенной таким образом, что через свои окна я видел все внутри их комнаты. Я увидел в тот же вечер эту девицу ужинающей с офицером и не обменивающейся, по-видимому, с ним ни словом. К концу ужина я вижу девицу встающей из-за стола и удаляющейся, в то время как офицер не отрывает глаз от от письма, которое читает. Четверть часа спустя он закрывает окна, и, видя комнату погруженной в темноту, я решаю, что он пошел спать. На завтра утром я вижу, как он уходит, и девица, оставшаяся одна в комнате, с книгой в руках, в том же виде, интересуется меня еще больше. Я выхожу и час спустя, зайдя обратно, вижу офицера; он говорит с ней, а она в ответ бросает лишь одно – два слова с очень грустным видом. Офицер снова выходит. Тогда я говорю моему *чичероне* пойти сказать этой девице, одетой офицером, что если она сможет дать мне свидание на часок, я дам ей десять цехинов. Выполнив тут же поручение, он возвращается и говорит, что она ответила по-французски, что, съев кусочек, она отправляется в Рим, и что в Риме мне будет легко узнать, как бы я мог с ней переговорить. Мой *чичероне* заверил меня, что он легко узнает у ее кучера, где она остановится. Она уехала после завтрака, с тем же офицером, а я уехал на другой день.

Два дня спустя после моего возвращения в Рим я получил от кардинала пакет, письмо к г-ну Дийо и паспорт с деньгами на поездку, без необходимости торопиться. В соответствии с этим я нанял коляску до Пармы за восемь цехинов.

На самом деле я больше не думал об этой девушке, когда накануне моего отъезда мой *чичероне* мне сказал, что он знает, где она живет вместе с тем же офицером. Я поручаю ему снова попытаться сделать ей то же предложение, известив, что я уезжаю послезавтра и следует поторопиться с этим дельцем. Он ответил мне в тот же день, что она ему сказала, что, зная час моего отъезда и ворота, через которые я отправляюсь, она будет на моем пути в двухстах шагах от города, и, если я буду один, она смогла бы сесть в мою коляску и мы сможем поболтать какое-то время.

Сочтя это предложение замечательным, я назвал ему время и место за воротами *Porta del Popolo* около моста *Ponte Molle*.

Она точно сдержала свое слово. Когда я ее заметил, я приказал остановиться, и она оказалась около меня, говоря, что у нас много времени, чтобы поговорить, потому что она решила пообедать со мной. Вы не можете себе представить, сколько усилий я потратил, чтобы ее понять, и сколько она – чтобы я понял. Все происходило с помощью жестов. Я согласился с ней, и с большим удовольствием.

Мы пообедали вместе, и она оказывала мне все любезности, каких я мог бы пожелать, но она меня слегка удивила, так как отказалась от десяти цехинов, которые я хотел ей вручить, дав мне понять, что предпочитает лучше ехать со мной в Парму, где должна кое-что сделать. Сочтя эту авантюру себе по вкусу, я согласился, опасаясь только, не имея возможности ей это объяснить, что, если дело обернется таким образом, что мне придется срочно возвращаться в Рим, я не смогу гарантировать ей исполнения ее пожеланий; я опасался также, что при взаимном языковом непонимании я не смогу в достаточной мере ее развлечь и сам, со своей стороны, не получу удовольствия от ее придумок. По этой же причине я не могу объяснить вам суть ее дел. Все, что я знаю, это то, что она желает называться Генриеттой, что она не может быть никем иным, как француженкой, что она нежна как первоцвет, что она получила, по видимому, очень хорошее воспитание, хорошо себя чувствует и что обладает умом и смелостью, как можно судить по тем образчикам, что она дала мне в Риме и вам в Чезене за столом у генерала. Если она захочет рассказать вам свою историю и разрешит вам пересказать ее для меня по-латыни, скажите, что она доставит мне большое удовольствие, потому что я стал очень быстро ее добрым другом. Я чувствую, в самом деле, большое беспокойство, потому что мы должны будем расстаться в Парме. Скажите ей, что я дам ей, кроме десяти цехинов, что я ей должен, еще тридцать, которые без нее я бы никогда не получил от епископа Чезены. Скажите, что если бы я был богат, я дал бы ей гораздо больше. Прошу вас объяснить ей это на ее языке.

Спросив ее, хочет ли она, чтобы я перевел ей все, что услышал, с наибольшей точностью, и услышав в ответ, что она хотела бы услышать все в подробностях, я перевел ей буквально все, что рассказал мне офицер.

Генриетта, с благородной откровенностью, смешанной, однако, с некоторой долей стыда, все мне подтвердила. Относительно того, чтобы удовлетворить наше любопытство, поведав нам свои обстоятельства, она просила меня сказать офицеру, что он должен избавить ее от этого.

– Скажите ему, – сказала она, – что то же правило, что запрещает мне лгать, не позволяет мне говорить правду.

Что же касается тридцати цехинов, которые он решил дать ей при расставании, она просила меня сказать ему, что абсолютно точно она не возьмет ни су, и что он ее обяжет, если не будет настаивать.

– Я желаю, – продолжила она, – чтобы он позволил мне поселиться одной там, где я захочу, чтобы забыл меня до такой степени, чтобы не стремиться узнавать в Парме, что со мной стало, и чтобы он делал вид, что не знает меня, если случайно со мной где-то встретится.

Сказав мне эти ужасные слова тоном настолько серьезным, насколько и нежным, и без малейшего волнения, она обняла старика с чувством, в котором проглядывало нечто большее, чем нежность. Офицер, который не знал, какие слова сопровождали это объятие, был очень огорчен, когда я ему их перевел. Он просил меня сказать ей, что, подчиняясь ее приказу, он хотел бы быть уверен, что она получит в Парме все, что ей нужно. Не ответив ни да ни нет, она сказала мне только попросить его совершенно не беспокоиться на ее счет.

После такого объяснения наша печаль стала общей. Мы оставались такими с четверть часа, не только не разговаривая, но даже не смотря друг на друга. Поднимаясь из-за стола, чтобы уйти, пожелав им доброй ночи, я увидел, что лицо Генриетты вспыхнуло.

Направляясь спать, я стал спорить сам с собой, как делал всегда, когда меня заинтересовывало что-то, волновавшее меня. Обдумывать дело молча меня не удовлетворяло; Мне нужно было говорить; возможно, в этот момент я советовался со своим демоном. Абсолютно ясное объяснение Генриетты меня растревожило. Кто, наконец, эта девушка, – говорил я в воздух, – которая соединяет в себе тонкость чувств с видимостью большого распутства? В Парме она хочет стать совершенно сама себе хозяйкой, и у меня нет никаких оснований льстить себе, что она не предложит мне те же правила, что и офицеру, с которым сейчас связана. Бог его знает! Кто она, в конце концов? То ли она уверена, что найдет своего любовника, то ли у нее в Парме муж, либо уважаемые родственники, или в необузданной фантазии безграничного вольнодумства, полагаясь на свои достоинства, она хочет испытать фортуна, бросившись в самые отчаянные обстоятельства в надежде, на свое счастье, найти любовника, который способен бросить к ее ногам корону; это был бы проект от сумасшествия, либо от отчаяния. У нее ничего нет, и, поскольку ей ничего не нужно, она не хочет ничего взять у этого офицера, от которого могла бы получить, не краснея, некую сумму, которую он, некоторым образом, ей должен. Не краснея в обстоятельствах, в которых она с ним находится, не будучи влюбленной, какой стыд может она испытывать, получив от него тридцать цехинов? Не думает ли она, что предаваться мимолетному капризу незнакомого мужчины, – меньшая низость, чем получить помощь, в которой она должна испытывать абсолютную необходимость, для того, чтобы гарантировать себя от нищеты и опасностей, которые она может встретить в Парме, оказавшись на улице? Она надеется, быть может, своим отказом загладить перед офицером неверный шаг, который она совершила. Она сочла, что он решит, что она совершила его, лишь чтобы вырваться из рук человека, который владел ею в Риме; и офицер не мог думать иначе, потому что не мог себе вообразить, что она неодолимо влюбилась в него, глядя из окна в Чивитавеккиа. Она могла, конечно, оказаться права и оправдаться перед ним, но не передо мной. Она должна понимать, с ее умом, что если бы не влюбила меня в себя, я не уехал бы с ней, и она не могла игнорировать тот факт, что у нее есть только одно средство заслужить также и мое прощение. У нее могли быть достоинства, но не такого рода, чтобы помешать мне претендовать на обычное вознаграждение, которым женщина должна воздать желаниям любовника. Если она полагает, что может разыгрывать добродетель со мной и дурачить меня, я должен показать ей, что она ошибается.

После этого монолога я определился перед сном, что не позднее, чем завтра утром, перед отъездом объяснюсь с ней. Я потребую у нее, сказал я себе, тех же любезностей, что были у нее с офицером, и если она мне откажет, я отомщу, наградив ее знаками самого унижительного презрения еще до того, как мы прибудем в Парму. Я счел совершенно очевидным, что она может отказать мне в знаках нежности, действительной или фальшивой, только выставя на вид свою добродетель, которой у нее нет, и если эта ее добродетель фальшивая, я не должен стать ее жертвой. Что касается офицера, я был уверен, после того, что он мне сказал, что он не может, ни с какой стороны, счесть мою декларацию дурной. Будучи человеком здравомыслящим, он должен оставаться здесь нейтральным.

Убежденный в правоте своих рассуждений, которые казались мне тонкими и продиктованными самой зрелой мудростью, я заснул, и Генриетта во сне, не потеряв ничего из своих реальных прелестей, являлась передо мной, смеющаяся и, что еще больше застало меня врасплох, одетая по-женски. Она защищала свое дело и показывала мне мою ошибку в таких словах: «Чтобы опровергнуть все оскорбительные софизмы, которые ты нагромоздил, я скажу тебе, что я тебя люблю и докажу это. Я никого не знаю в Парме, я не сумасшедшая и не отчаявшаяся и я хочу быть только с тобой». Говоря эти слова, она меня не обманывала, она полностью отдавалась моим любовным порывам.

В снах такого рода обычно спящий просыпается в момент перед кризисом. Природа, соболезнуя действительности, не допускает, чтобы иллюзия опережала ее. Мужчина во сне –

не совсем живой, и он должен проявиться таким в тот миг, когда он может дать жизнь существу, похожему на него самого. Но, о чудо! Я не просыпаюсь, я провел всю ночь с Генриеттой, в ее объятиях! Но какой долгий сон! Я могу его осознать, как сон, только потому, что при моем пробуждении на рассвете она исчезает. Я провел добрую четверть часа неподвижным и пораженным, перебирая случившееся в моей изумленной памяти. Я вспоминал, что несколько раз, случалось, говорил себе во сне: «Нет, я не сплю», и теперь я бы тоже решил, что не сплю, если бы не нашел дверь своей комнаты закрытой на задвижку изнутри. Иначе я бы решил, что Генриетта ускользнула перед тем, как я осознал себя проснувшимся, после того, как провела ночь со мной. После этого счастливого сновидения я почувствовал себя влюбленным до беспамятства, и не могло быть иначе. Тот, кто, сильно проголодавшись, идет спать без ужина и проводит всю ночь, вкушая во сне, должен, проснувшись, чувствовать зверский аппетит. Я быстро оделся, решив, что еще до отъезда получу твердую уверенность в обладании Генриеттой, либо останусь в Болонье, предоставив, тем не менее, ей возможность ехать в Парму вместе с офицером в моей коляске. Чтобы ни в чем не отступить от правил вежливости, я должен был, прежде чем объяснить с ней, чистосердечно переговорить с венгерским капитаном.

Мне кажется, что я слышу, как читатель, особенно умный, восклицает, смеясь: «Как можно придавать такое большое значение подобным пустякам?». Такой читатель, если он не был никогда влюблен, безусловно прав. Для него все это не более чем пустяки.

Одевшись, я иду в комнату своих попутчиков и, пожелав им доброго утра и убедившись, что они находятся в добром здравии, что видно по их лицам, сообщаю офицеру, что я влюбился в Генриетту. Я спрашиваю у него, не сочтет ли он дурным, что я попытаюсь уговорить ее стать моей любовницей.

– Если то, что заставляет ее просить вас покинуть ее по приезде в Парму, и даже не справляться о ней, – это любовник, которого она может иметь в этом городе, я хочу верить, что, если вы разрешите мне переговорить с ней полчаса тет-а-тет, я сумею ее убедить пожертвовать этим любовником. Если она мне откажет, я останусь здесь. Вы поедете в Парму с ней и оставите мою коляску на почте, отправив мне сюда квитанцию начальника почты, по которой я смогу получить ее обратно.

– После того, как мы позавтракаем, – ответил он, – я пойду осмотреть Институт; вы останетесь с ней наедине и поговорите. Я хочу, чтобы к моему возвращению через несколько часов вы смогли сказать мне, что вы убедили ее поступить так, как вы хотите. Если она упорствует в своем решении, я легко найду здесь извозчика; так вы сохраните у себя вашу коляску. Я же буду рад оставить ее у вас.

Обрадованный тем, что сделал половину дела, и тем, что развязка пьесы близится, я спросил у Генриетты, не хочет ли она осмотреть, что есть в Болонье заслуживающего интереса, и она ответила, что очень хотела бы этого, если бы была одета как женщина, но что она не постесняется показаться всему городу и одетая как мужчина. Мы завтракаем, затем офицер уходит. Я говорю Генриетте, что он оставил нас одних до своего возвращения, потому что я сказал ему, что должен с ней переговорить тет-а-тет.

– Приказ, – говорю я, сидя перед ней, – который вы отдали вчера капитану – после того, как вы расстанетесь с ним в Парме, забыть вас, не справляться о вас и делать при случайной встрече вид, что вы незнакомы, – относится ли он также и ко мне?

– Это не приказ, но настоятельная просьба, мое пожелание, которое обстоятельства заставляют меня ему высказать, и в котором у него нет причины мне отказать, и я ни минуты не сомневаюсь, что у него не возникнет никаких затруднений при ее выполнении. Что касается вас, то, разумеется, я бы высказала такое же пожелание и вам, если бы могла думать, что вы задумаете предпринять относительно меня какие-то поиски. Вы подали мне некоторые знаки вашей дружбы, и вы могли бы представить себе, что если, в силу моих обстоятельств, забота, которую капитан захочет проявить обо мне, несмотря на мои просьбы, огорчит меня, поскольку

может причинить мне неприятности, ваша забота стала бы для меня еще хуже. Испытывая ко мне дружеские чувства, вы могли бы об этом догадаться.

– Учитывая то чувство дружбы, которое я к вам питаю, вы тоже могли бы догадаться, что для меня немисливо оставить вас одну, без денег и не имеющую чего-нибудь для продажи, среди улицы, в городе, где вы не можете даже поговорить. Не думаете ли вы, что мужчина, которому вы внушили дружеские чувства, сможет вас покинуть, узнав от вас и осознав ваше положение? Если вы так считаете, вы не имеете понятия о дружбе, и если этот мужчина окажет вам услугу, о которой вы просите, он вам не друг.

– Я уверена, что капитан мне друг, и вы слышали, что он мне обещал.

– Я не знаю, ни какого сорта дружба, которую испытывает к вам капитан, ни до каких пределов может она дойти, но я знаю, что если он соглашается оказать вам услугу, о которой вы просите, с такой легкостью, та его дружба к вам, о которой вы говорите, совершенно другого рода, чем моя. Я считаю своим долгом вам сказать, что мне не только нелегко выполнить ваше странное пожелание покинуть вас в том состоянии, в котором я вас наблюдаю, но что исполнение вашего желания для меня невозможно, если я приезжаю в Парму. Я не только испытываю чувство дружбы к вам, – я вас люблю, люблю до такой степени, что либо полное обладание вами делает меня счастливым, либо я остаюсь здесь, предоставив вам ехать с офицером в Парму, потому что, если я еду в Парму, я буду несчастнейшим человеком, увидев вас с любовником, либо с мужем, или в кругу уважаемой семьи, либо, наконец, окажусь в неизвестности, что с вами стало. «Забудьте меня» – это слишком легко сказано. Знайте, мадам, что если для француза, возможно, забыть легко, то для итальянца, каков я, нет такой странной возможности. Словом, говорю вам, вы должны немедленно объясниться. Должен ли я ехать в Парму? Должен ли остаться здесь? Одно из двух. Скажите. Если я остаюсь здесь, этим все сказано. Я уезжаю завтра в Неаполь, и уверен, что сумею победить страсть, которую вы мне внушили. Но если вы мне говорите сопровождать вас в Парму, это значит, что вы заверяете меня в том, что дадите мне счастье обладания вашим сердцем, не менее того. Я хочу быть вашим единственным любовником, при условии однако, что вы этого хотите сами, что вы удостоиваете меня ваших милостей только за мои заботы и мое к вам внимание, и за все, что я буду делать для вас с такой покорностью, равной которой вы еще не встречали. Сделайте выбор, пока этот добрый и слишком счастливый человек не пришел. Я обо всем ему сказал.

– Что он вам ответил?

– Что он будет счастлив оставить вас мне. Что означает ваша усмешка?

– Позвольте мне посмеяться, прошу вас, потому что я в жизни не сталкивалась с подобной декларацией страстной любви. Понимаете ли вы, что значит сказать женщине при объяснении в любви, по-видимому, самой нежной: «Мадам, один из двух, выберите сейчас же»?

– Я прекрасно это понимаю. Это не нежно и не патетично, как должно быть в романе, но это история, и из самых серьезных. Я никогда не испытывал подобного затруднения. Не чувствуете ли вы, в каком трудном положении оказывается влюбленный мужчина, когда он должен принять решение, которое может определить его жизнь? Подумайте, что, несмотря на то, что я горю, я не упрекаю вас ни в чем, и что в решении, которое готов принять, если вы будете упорно стоять на вашей идее, нет угрозы, но лишь героическое действие, которое я должен предпринять, при всем уважении к вам. Подумайте также о том, что нельзя терять времени. Слово «выбор» не должно казаться вам грубым, наоборот, оно оказывает вам честь, давая возможность решить мою и вашу судьбы. Чтобы увериться, что я вас люблю, нужно ли, чтобы я, как слабоумный, начал в слезах упрашивать вас проявить ко мне сострадание? Нет, мадам. Уверенный, что достоин вашего сердца, я не хочу просить вас о снисхождении. Идите, куда хотите, но позвольте мне уехать. Если, из чувства человечности, вы пожелаете, чтобы я забыл вас, позвольте мне, удалившись от вас, облегчить тем самым несчастное возвращение к себе. Если я поеду в Парму, я за себя не отвечаю. Подумайте сейчас, умоляю вас: если вы скажете

мне, чтобы я поехал в Парму и не пытался там вас увидеть, на вас ляжет непростительная вина. Согласитесь, что по чести вы не можете так сказать?

– Несомненно, я это понимаю, если правда, что вы меня любите.

– Бог мне судья! Будьте уверены, я вас люблю. Выбирайте же. Скажите.

– И все время такой тон. Знаете ли вы, что у вас такой вид, как будто вы в гневе?

– Извините. Я не в гневе, но в сильнейшем волнении, и настал решительный момент. Я всем этим обязан своей странной судьбе и проклятым сбирам, что меня разбудили в Чезене, потому что без них я бы вас не увидал.

– Вы так сердитесь, что познакомились со мной?

– А разве я неправ?

– Отнюдь нет, потому что я еще не решила.

– Я снова дышу. Бьюсь об заклад, вы скажете мне, чтобы я ехал в Парму.

– Да, поезжайте в Парму.

Глава III

Я счастливый выезжаю из Болоньи. Капитан покидает нас в Реджио, где я провожу ночь с Генриеттой. Наше прибытие в Парму. Генриетта переодевается в одежду, соответствующую ее полу; наше обоюдное счастье. Я встречаю своих родственников, не будучи ими узнан.

В этот момент сцена поменялась. Я пал к ее ногам, я обнял ее колени, покрыв их своей поцелуев; неистово, не тоном упрека, но нежно, покорно, с благодарностью, весь пылая, я клялся ей, что никогда бы не осмелился просить у нее даже руку для поцелуя, если бы не надеялся заслужить ее сердце. Эта дивная женщина, в удивлении, видя, как я сменил тон отчаяния на выражения самой живой нежности, говорит мне с еще более нежным видом, чтобы я встал. Она говорит мне, что уверена, что я ее люблю, и сделает все от нее зависящее, чтобы остаться мне верной. Она говорит, что любит меня так же сильно, как я ее, чего раньше не говорила. Я припал губами к ее прекрасным рукам, когда вошел капитан. Он приветствовал нас. Я сказал ему со счастливым видом, что иду распорядиться о лошадях, и оставил их. Мы отправились, все трое очень довольные.

На расстоянии в половину почтового перегона перед приездом в Реджио он заявил мне, что мы должны оставить его, чтобы он въехал в Парму один. Он сказал, что, приехав вместе с нами, дал бы пищу для расспросов и пересудов. Мы сочли его рассуждения правильными. Мы тут же решили остановиться на ночь в Реджио, а ему отправиться дальше в Парму в почтовой карете. Так мы и сделали. Отвязав свой багаж и поместив его в маленькую коляску, он нас покинул, предложив прийти пообедать завтра вместе.

Такой поступок этого славного человека должен был понравиться Генриетте, как и мне, из чувства деликатности, смешанной с некоторым предубеждением как с той, так и с другой стороны. Ввиду новой расстановки участников, как бы мы смогли разместиться в Реджио? Генриетта должна была бы чинно поместиться в отдельной кровати и должна была бы, или мы должны были бы, сдерживаться, при всей нелепости этого положения, что неизбежно заставляло бы нас краснеть всех троих. Любовь – чудесное дитя, которое ненавидит стыд до такой степени, что чувствует себя в таких условиях униженным, и это унижение заставляет его терять не менее трех четвертей его достоинства. Мы не смогли бы, ни я, ни Генриетта, чувствовать себя действительно счастливыми, не удалив от себя воспоминание об этом славном человеке.

Я прежде всего распорядился об ужине для Генриетты и себя, чувствуя, что мое счастье возрастает сверх всякой меры; но, несмотря на это, вид у меня был грустный, и такой же был у Генриетты, так что она не могла мне пенять на это. Мы поужинали очень скромно и совсем не разговаривали при этом, потому что слова казались нам невыразительными: мы тщетно старались сторониться друг друга, пытаясь найти интересный предмет для разговора. Мы знали, что сейчас ляжем вместе, но боялись оказаться бестактными, заговорив об этом. Какая ночь! Какая женщина эта Генриетта, которую я так люблю! Которая сделала меня таким счастливым!

На третий или четвертый день после нашего соединения я спросил у нее, что бы она делала без единого су и не имея никаких знакомств в Парме, если бы я, будучи влюбленным в нее, все же решил бы уехать в Неаполь. Она ответила, что на самом деле оказалась бы в самом ужасном положении, но что будучи уверена в том, что я ее люблю, она также была уверена, что я должен буду объясниться. Она добавила, что для того, чтобы понять мои намерения относительно нее, она дала мне перевести офицеру свое решение, зная, что он не может ни воспротивиться этому, ни продолжать сохранять ее при себе. Она сказала мне, наконец, что, высказав пожелание офицеру, чтобы тот больше не думал о ней, она сочла невозможным, чтобы я не стал ее расспрашивать, в чем я смогу быть ей полезным, хотя бы из одного чувства дружбы, и к тому же она еще не определилась относительно своих чувств ко мне. Она заключила, сказав мне, что если она и пала, то это ее муж и ее свекор тому причиной. Она назвала их монстрами.

Въехав в Парму, я сохранил имя Фаруччи – фамилию моей матери. Генриетта записалась под именем Анна д'Арси, француженка. Когда мы отвечали на вопросы чиновника, молодой расторопный француз предложил себя к моим услугам и сказал, что, вместо того, чтобы останавливаться на почте, он лучше отведет нас к Андремону, где я найду апартаменты, кухню и французские вина. Видя, что предложение нравится Генриетте, я согласился, и мы отправились к этому Андремону, где очень хорошо устроились. Договорившись поденно с лакеем, который нас туда привел, и договорившись обо всем с хозяином дома, я пошел с ним устроить свою коляску на стоянку.

Сказав Генриетте, что мы увидимся в час обеда, и лакею, чтобы ждал в прихожей, я вышел один. Будучи уверен, что в городе, подчиненном новому руководству, шпионы должны быть повсюду, я хотел идти один, хотя этот город, родина моего отца, был мне совершенно незнаком.

Мне показалось, что я нахожусь не в Италии: все имело заграничный вид. Я слышал, как прохожие все говорили по-французски или по-испански, те же, что не говорили ни на одном из этих языков, разговаривали очень тихо. Слоняясь по улицам и ища глазами лавку, торгующую бельем, и не желая спрашивать, где мне ее найти, я заметил такую, в которой сидела у прилавка толстая женщина.

– Мадам, я хотел бы купить разного белья.

– Месье, я пойду найду кого-нибудь, говорящего по-французски.

– Это незачем, поскольку я итальянец.

– Слава богу! Нет ничего более редкого сегодня.

– Почему редкого?

– Вы разве не знаете, что пришел Дон Филипп? И что Мадам Французская, его супруга, в дороге?

– Я поздравляю вас с этим. Должно привалить много денег и можно будет найти все.

– Это верно, но все дорого, и мы не можем приспособиться к новым нравам. Эта смесь французской свободы и испанской ревности кружит нам голову. Какое белье вы желаете?

– Прежде всего, заверяю вас, что я не склонен торговаться, так что берегитесь. Если вы запросите слишком много, я к вам больше не приду. Мне нужно тонкого полотна, чтобы изготовить двадцать четыре женских рубашки, бумазеи для юбок и корсетов, муслина, платков и прочих вещей, которые мне хотелось, чтобы вы сами выбрали, потому что я иностранец и, бог знает, к кому я еще могу обратиться.

– Вы попали в хорошие руки, если вы доверитесь мне.

– Мне кажется, вам можно верить; я прошу вас мне помочь. Дело в том, что мне нужно также найти портних, которые могли бы работать прямо в комнате дамы, для которой необходимо быстро изготовить все необходимое.

– Также и платья?

– Платья, чепчики, накидки, – все; представьте, как будто женщина совсем раздета.

– Если у нее есть деньги, обещаю, что мы ничего не упустим. Это уж мое дело. Она молода?

– Она на четыре года моложе меня и она моя жена.

– Ах! Благослови вас бог. У вас есть дети?

– Еще нет, моя добрая дама.

– Как я рада! Я отправлю, прежде всего, найти жемчужину среди портних. В ожидании вы можете пока выбирать.

Выбрав все необходимое из лучшего, что она мне предложила, я расплатился с ней, а тем временем пришла портниха. Я сказал бельевой торговке, что остановился у д'Андремона, и что если она направит ко мне продавца с тканями, я буду ей благодарен.

– Вы обедаете у себя?

– Да.

– Хорошо. Положитесь на меня.

Я сказал портнихе, которая была со своей дочерью, следовать за мной и нести мое белье. Я остановился только купить чулки и нитки, и, придя к себе, пригласил также войти сапожника, находившегося у моих дверей. Вот момент истинного удовольствия! Генриетта, которую я ни о чем не предупредил, смотрела на все это, сидя у стола, с видом величайшего удовлетворения, но высказала только одобрение прекрасному качеству выбранных мной товаров. Никакого проявления радости, никаких изъявлений благодарности.

При моем появлении вошел слуга с портнихами, и Генриетта вежливо сказала ему выйти в прихожую и быть готовым войти, когда позовут. Он задернул занавески, портниха начала кроить рубашки, сапожник взял у нее мерки, я приказал ему изготовить сначала домашние туфли, и он вышел. Четверть часа спустя он вернулся с домашними туфлями для Генриетты и для меня, и тут с ним вместе входит слуга, не будучи вызван. Сапожник, говорящий по-французски, начинает ей рассказывать байки, вызывающие смех. Она прерывает его, спрашивая у слуги, стоящего тут же, что он хочет.

– Ничего, мадам; я здесь, чтобы выслушать ваши приказания.

– Разве я вам не сказала, что когда вы будете нужны, вас позовут?

– Я хотел бы знать, кто из вас двоих мой хозяин.

– Никто, – говорю я ему, смеясь, – вот ваша дневная зарплата. Уходите.

Генриетта продолжает смеяться вместе с сапожником, который, видя, что она говорит только по-французски, предлагает ей учителя языка. Она спрашивает, из какой тот страны.

– Фламандец. Он ученый. Ему пятьдесят лет, он очень умен. Он живет в гостинице Борника; он берет три пармских ливра за урок, если он продолжается час, и шесть, если два часа, и хочет, чтобы ему платили раз за разом.

– Хочешь ли ты, чтобы я взяла этого учителя?

– Прощу тебя взять его – это тебя развлечет.

Сапожник обещает отвести ее к нему завтра в девять часов. В то время, как портниха-мать кроит, дочь начинает шить, но в одиночку не справляется с количеством работы; я говорю женщине, что она нас обяжет, найдя еще одну, говорящую по-французски. Она обещает проделать это в тот же день. Одновременно она предлагает мне взять домашним слугой ее сына, который может изъясняться по-французски, заверяя, что он не вор, не тупица и не шпион. Генриетта говорит, что, как ей кажется, стоит его взять. Та велит своей дочери пойти за ним и привести также портниху, говорящую по-французски. Ну вот и компания, которая может развлечь мою дорогую супругу.

Сын этой женщины был мальчик восемнадцати лет, учившийся в школе, скромный и порядочный на вид. Спросив, как его зовут, я был очень удивлен, услышав, что его фамилия Коданья.

Читатель знает, что мой отец был пармезанец, и, возможно, он помнит, что сестра моего отца вышла замуж за Коданья. Это поразительно, сказал я себе, если эта портниха – моя тетка, а мой слуга – мне кузен. Умолчим об этом! Генриетта спросила у меня, не хочу ли я, чтобы эта портниха обедала с нами, Но я упрекнул ее, что не хочу, чтобы на будущее мне докучали подобными мелкими просьбами. Она засмеялась и обещала мне это. Я положил в маленький кошелек пятьдесят цехинов и сказал ей, передавая его, чтобы она из него оплачивала все свои мелкие надобности, и что я не хочу об этом знать. Она согласилась, сказав, что этот подарок доставил ей большое удовольствие.

За минуту перед тем, как нам сесть за стол, появился венгерский капитан. Генриетта бросилась его обнимать, называя папой; она просила его приходиться с нами обедать каждый день. Этот славный человек, видя, как изготавливаются все эти женские принадлежности, был

в восхищении от того, как хорошо устроена его авантюристка, и преисполнился радости, когда я сказал ему, обнимая, что обязан ему моим счастьем.

Мы очень тонко пообедали. Повар у д'Андремона был великолепный. Я открыл для Генриетты фрианде⁶, венгр наслаждался и я получал удовольствие от обоих. Пробуя вина нашего хозяина, мы прекрасно пообедали. Мой молодой наемный слуга понравился мне тем, с каким уважением он относился к своей матери, впрочем, как и остальные. Жанетон, его сестра, работала вместе с француженкой. Они уже пообедали.

На десерт я увидел торговку бельем вместе с двумя другими женщинами, из которых одна была модистка, говорившая по-французски. У второй были образцы всех сортов платьев. Я предоставил Генриетте распоряжаться выбором шляпок, чепцов и гарнитуры на первый случай, но выразил пожелание участвовать в выборе платьев, сообразуя, однако, свой вкус со вкусом моего кумира. Я заставил ее выбрать четыре платья и был ей благодарен за то, что она согласилась с моими рекомендациями. Чем больше я привязывался к ней, тем больше ощущал себя счастливым. И вот настал первый день, когда у нас не осталось больше незавершенных дел. Вечером за ужином мне показалось, что она не так весела, как обычно, и я спросил ее о причине.

– Дорогой друг, ты тратишь много денег на меня, но если ты их тратишь, чтобы заставить меня полюбить тебя больше, они выброшены на ветер, потому что я люблю тебя не сильнее, чем позавчера. Все то, что ты делаешь, доставляет мне удовольствие лишь потому, что я понимаю, что ты стараешься ради того, чтобы доказать, что ты меня любишь; но мне нет нужды в этом доказательстве.

– Я знаю это, дорогая Генриетта, и я себя поздравляю, если ты чувствуешь, что твоя нежность не может стать еще сильнее; но знай, что я делаю это лишь для того, чтобы еще сильнее любить тебя, я хочу видеть тебя блистающей в кругу существ твоего пола, сожалея лишь о том, что не мог раньше предоставить тебе такую возможность. И если тебе это доставляет удовольствие, не должен ли я быть этим счастлив?

– Разумеется, мне это доставляет удовольствие, и некоторым образом заявляя, что я твоя жена, ты прав; но если ты не слишком богат, ты должен понять мой упрек.

– Ах! Моя дорогая Генриетта, позволь мне заверить тебя, что я богат, и, думаю, невозможно представить себе, чтобы ты стала причиной моего разорения: ты рождена, чтобы сделать меня счастливым. Думай только о том, чтобы никогда меня не покинуть, и скажи, могу ли я на это надеяться.

– Я хочу этого, мой самый дорогой; но кто может быть уверен в будущем. А ты свободен? Зависишь ли ты от чего-нибудь?

– Я свободен в полном смысле этого слова, и я ни от кого не завишу.

– Я тебя поздравляю, и моя душа этому радуется; Никто не может оторвать тебя от меня; но увы! Ты знаешь, что я не могу сказать того же о себе. Я уверена, что меня ищут, и я знаю, что если меня найдут, то легко отыщут средство мной завладеть. Если они смогут вырвать меня из твоих рук, я буду несчастна.

– А я убью себя. Ты заставляешь меня дрожать. Можешь ли ты опасаться этой беды здесь?

– Я боюсь только, чтобы некто, который меня знает, не увидел меня.

– Возможно ли, чтобы этот некто оказался в Парме?

– Это мне кажется маловероятным.

– Не будем же тревожить нашу любовь опасениями, прошу тебя, и будь весела, какой ты была в Чезене.

– И, несмотря на это, я была в Чезене несчастна, а сейчас счастлива, но не бойся видеть меня печальной, потому что веселость – в моем характере.

⁶ слоеные пирожки

– Думаю, в Чезене ты опасалась, что тебя нагонит французский офицер, с которым ты жила в Риме.

– Отнюдь. Это был мой свекор, который, я уверена, не сделал ни малейшего усилия, чтобы выяснить, куда я направилась, после того, как исчезла из гостиницы. Он может быть только счастлив, что избавился от меня. Несчастной меня делает возможность оказаться с человеком, которого я не люблю и с которым не могу разговаривать. Добавь к этому, что я не могла утешиться мыслью, что составляю счастье человека, с которым нахожусь, потому что внушила ему лишь преходящее чувство, которое он оценил в десять цехинов, и которое, будучи удовлетворенным, должно, я уверена, стать ему в тягость, потому что, очевидно, он не богат. Я несчастна и по другой, достойной жалости, причине. Считая себя обязанной оказывать ему ласки, – а со своей стороны, он должен был, естественно, мне на них отвечать, – я опасалась, что это не затрагивает его чувство; эта мысль меня угнетала: если мы оба не любим друг друга, то подчиняемся, грубо говоря, простой вежливости. Мы растрачиваем на комплименты то, что должно быть обязано только любви. Другое соображение угнетало меня еще больше. Я не хотела, чтобы кто-то мог подумать, что я держусь этого порядочного человека ради своей выгоды. Поэтому ты не мог не заметить, что ты меня привлек еще раньше, чем я тебя увидела.

– Как! Здесь даже нет места для самолюбия?

– По правде говоря, нет, потому что ты мог отметить относительно меня только то, что я заслуживаю внимания. Я совершила ошибку, как ты знаешь, поскольку мой свекор явился, чтобы поместить меня в монастырь. Но прошу тебя, не заморачивайся моей историей.

– Я не буду тебе докучать, мой ангел. Давай любить друг друга, так, чтобы опасения будущего не могли возмутить наш мир.

Мы отправились спать, влюбленные, чтобы выйти из постели утром еще более влюбленными. Я провел с ней три месяца, все время наслаждаясь любовью, и надеясь, что это продолжится и дальше.

Итак, на другой день в девять часов я увидел учителя языка. Это был человек respectable вида, учтивый, сдержанный, говорящий мало, но хорошо, осторожный в своих ответах и воспитанный в старом духе. Он начал с того, что заставил меня смеяться, сказав, что христианин может допустить систему Коперника только как рабочую гипотезу. Я ответил ему, что она не может быть ничем иным как системой Бога, поскольку описывает природу, и что Святое Писание не есть книга, по которой христиане могли бы изучать физику. Своим смехом он мне напомнил Тартюфа; но он мог забавлять Генриетту, и единственное, что я от него хотел, это чтобы он учил ее итальянскому. Она сказала ему, что будет давать по шесть ливров в день, потому что хочет двухчасовых уроков. Шесть пармских ливров соответствуют тридцати французским су. После урока она дала ему два цехина, чтобы он купил ей новых романов с хорошими отзывами.

Пока она занималась уроком, я поболтал с портнихой Коданья, чтобы удостовериться, что мы действительно родственники. Я спросил у нее, чем занимается ее муж.

– Мой муж метрдотель у маркиза Сисса.

– Ваш отец жив?

– Нет, месье. Он умер.

– Какая была его фамилия?

– Скотти.

– А у вашего мужа есть отец и мать?

– Его отец умер, а его мать еще живет, с каноником Казановой, своим дядей.

Мне ничего больше и не требовалось. Эта женщина была моя кузина, по бретонскому обычаю, а ее дети – мои племянники от кузины. Моя племянница Жаннетон не была красива, и я продолжил расспрашивать ее мать. Я спросил ее, довольны ли пармезанцы, став подданными Испании.

– «Довольны? Мы все пребываем в настоящем лабиринте, все перевернуто, мы не знаем теперь, где мы. Счастливое время, когда правил дом Фарнезе, ты прошло! Я была позавчера на комедии, где Арлекин заставлял всех хохотать во все горло; но представьте себе: дон Филипп, наш новый герцог, начинает смеяться так, как он умеет, гримасничая, и когда уже не может сдерживаться, загоразживается шляпой, чтобы не видели, как он корчится от смеха. Мне говорили, что манера смеяться не вяжется со строгой осанкой испанского инфанта, и что если он продолжит демонстрировать такое, напишут в Мадрид его матери, которая находит это отвратительным и недостойным великого принца. Что вы на это скажете? Герцог Антуан, спаси боже его душу, был тоже великий принц, но он смеялся от всего сердца, так, что раскаты раздавались на улице. Мы втянуты в немыслимый конфуз. В течение трех месяцев в Парме больше не осталось никого, кто бы знал, который теперь час⁷.

С тех пор, как Бог создал мир, солнце садилось в двадцать три с половиной часа, а в двадцать четыре всегда читали Анжелюс; и все порядочные люди знали, что в это время зажигают свечи. Сейчас это непонятно. Солнце сошло с ума: Оно садится каждый раз в другое время. Наши крестьяне больше не знают, в котором часу им следует приходиться на рынок. Называют это регламентом; но вы не знаете, почему? Потому что теперь каждый знает, что обедают в двенадцать часов. Прекрасный регламент! Во времена Фарнезе обедали, когда чувствовали, что проголодались, и так было гораздо лучше».

У Генриетты не было часов; я вышел, чтобы пойти ей купить. Я купил ей перчатки, веер, серьги и некоторые безделушки, которые показались ей слишком дорогими. Ее учитель был еще здесь. Он произнес мне похвальную речь ее таланту.

– Я мог бы, – сказал он, – преподавать мадам геральдику, географию, хронологию, науку о сферах, но она все это знает. Мадам получила прекрасное воспитание.

Этого человека звали Валентин де ла Хэйе. Он сказал мне, что он инженер и профессор математики. Я буду много говорить о нем в этих Мемуарах, И мой читатель лучше узнает его характер по его поступкам и по тем зарисовкам, которые я с него сделаю.

Мы весело пообедали с нашим венгром. Мне не терпелось увидеть мою дорогую Генриетту одетой как женщина. Ей должны были завтра принести платье и сделали юбки и несколько рубашек. У Генриетты был блестящий и очень тонкий ум. Модистка, которая была из Лиона, вошла как-то утром в нашу комнату, говоря:

– Мадам и месье, я к вашим услугам.

– Почему, – сказала ей Генриетта, – вы не говорите: «Месье и мадам»?

– Я вижу, – отвечает модистка, – что обычно первые почести оказывают дамам.

– Но от кого добиваемся мы этих почестей?

– От мужчин.

– Разве вы не видите, что женщины становятся смешны, когда не оказывают мужчинам ту же честь, которую вежливость заставляет их оказывать нам?

Если кто-то полагает, что женщина неспособна сделать мужчину счастливым все двадцать четыре часа в сутки, не знали Генриетты. Радость, которую испытывала моя душа днем во время диалогов с ней, превосходила ту, что я испытывал, держа ее в своих объятиях ночью. Генриетта много читала, имела природный вкус, разумное суждение обо всем и, не будучи ученой, рассуждала как геометр. Не претендуя на глубокий ум, она говорила что-нибудь важное, сопровождая всегда это смехом, который, придавая всему видимость легкомыслия, делал сказанное доступным любой компании. Она этим прибавляла ума тем, кто не думал, что его имеет, и кто в ответ на это любил ее до обожания. В конце концов, красавица, не имеющая развитого ума, не получает никаких шансов на любовника после достижения им вещественного наслаждения от ее прелестей. Дурнушка, блещущая умом, влюбляет в себя такого муж-

⁷ В Парме был узаконен переход на испанскую систему времени – прим. перев.

чину, о котором не могла и мечтать. Каково же было мне с Генриеттой, красавицей, умницей и образованной? Невозможно представить себе меру моего счастья.

Можно спросить у красивой женщины, не обладающей большим умом, не хотела ли бы она отдать небольшую часть своей красоты за то, чтобы приобрести немного ума. Если она искренняя, она ответит, что она довольна тем, какова она есть. Почему она довольна? Потому что, обладая малым, она не может осознать того, чего лишена. Если спросить у умной дурнушки, хочет ли она поменяться местами с той другой, – она ответит, что нет. Почему? Потому что, обладая большим умом, она осознает, что он заменяет ей все.

Умная женщина, не созданная, чтобы составить счастье любовника, – ученый. В женщине наука неуместна; она наносит ущерб самому главному для ее пола, а кроме того, она никогда не пойдет дальше известных границ. Нет ни одного научного открытия, сделанного женщиной. Чтобы пойти *plus ultra*⁸, нужно иметь силу, которой женский пол не обладает. Но в простых рассуждениях и в тонких сплетениях чувств мы должны уступить первенство женщинам. Вы швыряете софизм в голову умной женщины – она не может его развить; но она не проста; она говорит вам, что не сильна в этом, и отбрасывает его вам обратно. Мужчина, который сочтет положение неразрешимым, сделает из него разменную монету, как женщина-ученый. Какая невыносимая ноша для мужчины такая женщина, которая обладает, например, умом м-м Дасье⁹! Боже охрани вас от такого, дорогой читатель!

С приходом портнихи с платьем Генриетта сказала мне, что я не должен присутствовать при этой метаморфозе. Она сказала мне пойти погулять до того момента, когда, вернувшись домой, я уже не увижу ее замаскированной.

Это великое удовольствие – исполнять все, что приказывает объект твоей любви. Я пошел в лавку французской литературы, где нашел умного горбуна. Впрочем глупый горбун – большая редкость. Не все умные люди горбуны, но все горбуны умные люди. В результате многолетних наблюдений я полагаю, что это не ум вызывает рахит, а рахит, который дает ум. Этого горбуна, с которым я познакомился, звали Дюбуа-Шательро. Он был по профессии гравер и директор монетного двора герцога-инфанта, потому что тогда собирались выпускать монету; но этого так и не получилось.

Проведя час с этим умным человеком, который показал мне некоторые образцы своей продукции в гравюрах, я вернулся к себе и застал венгерского капитана, который ожидал, пока откроется дверь Генриетты. Он не знал, что она встретит нас без маскировки. Дверь, наконец, отворилась и вот: она предстала перед нами, исполнив с непринужденным видом прекрасный реверанс, в котором не чувствовалось ни внушительности, ни воинственной веселости освобождения. Для нас это явилось сюрпризом, и мы были в замешательстве. Она предложила нам сесть рядом; она смотрела на капитана дружески, а на меня – с нежностью и любовью, но не с той видимостью фамильярности, с которой молодой офицер может принижать любовь, и которая не идет женщине хорошего происхождения. Этот новый облик заставил меня действовать в унисон, поскольку Генриетта не играла роль. Она действительно была той, кого представляла. Пораженный восхищением, я взял ее руку, чтобы поцеловать, но она отняла ее, подставив мне губы, говоря:

– Разве я не та же, что и прежде?

– Нет. И это настолько верно, что я не могу больше обращаться к вам на «Ты». Вы больше не тот офицер, который ответил м-м Кверини, что вы *играете в фараон, держа банк, и что игра столь невелика, что не стоит и считать.*

⁸ дальше

⁹ известная женщина-ученый XVIII века

– Действительно, одетая так, я не смею теперь говорить что-то подобное. Ноя не стала менее Генриеттой, которая сделала в своей жизни три ошибки, из которых последняя, без тебя, стала бы для меня роковой. Но прекрасная ошибка, благодаря которой я тебя узнала.

Ее чувства настолько поразили меня, что был момент, когда я хотел броситься к ее ногам, чтобы просить у нее прощения, если я не сразу стал почитать ее, если отнесся слишком легкомысленно, если одержал свою победу слишком безыскусно.

Генриетта, прелесть, положила конец чрезмерно патетической сцене, растормошив капитана, который, казалось, окаменел. Его оскорбленный вид произошел от сознания ошибки, которую он допустил, приняв за авантюристку женщину такого рода, потому что он не допускал мысли, что ее облик был поддельный. Он смотрел на нее удивленно, делал ей реверансы; было видно, что он старается заверить ее в своем уважении и раскаянии – это ему было запрещено. Что касается ее – она, казалось, говорила, однако без всякой тени упрека: я очень рада, что вы меня сейчас узнали.

С этого дня она стала оказывать честь столу как женщина, которая привыкла это делать. Она относилась к капитану как к другу, а ко мне как к любимому. Она казалась то моей любовницей, то женой. Капитан просил меня сказать ей, что если бы он увидел ее сходящей с тартаны в этой одежде, он не осмелился бы послать к ней своего чичероне.

– Ох, в этом я уверена, – ответила она, – но это странно, что форма выглядит менее rispetабельно, чем платье.

Я просил ее не ругать свою униформу, потому что я обязан ей своим счастьем.

– Как и я, – ответила она, – собираю Чезены.

В действительности весь этот день я использовал, наслаждаясь чистой любовью; и мне показалось, что я ложусь с ней в постель в первый раз.

Глава IV

Я снимаю ложу в опере, несмотря на отвращение Генриетты. К нам приходит капитан Дю Буа, он обедает у нас; тур шалостей, который разыгрывает для него моя подруга. Рассуждения Генриетты о счастье. Мы идем к Дю Буа; замечательный талант, который раскрывается там у моей подруги. Г-н Дютийо. Превосходный праздник, который дает Двор в садах; роковая встреча. Я беседую с г-ном Антуаном, фаворитом инфанта.

Когда прибыла Мадам де Франс, супруга Инфанта, я сказал Генриетте, что сниму ложу на все дни. Она не раз говорила мне, что ее главная страсть это музыка. Она никогда не видела итальянской оперы, и я был удивлен, услышав, как она мне холодно ответила:

– Значит, ты хочешь, чтобы мы ходили в оперу каждый день?

– Просто я думаю, что мы дадим повод для пересудов, если не будем этого делать, но если ты не получишь от этого удовольствия, дорогой друг, ты знаешь, что ничто тебя к этому не принуждает. Я предпочитаю наши занятия в этой комнате всей музыке мира.

– Я без ума от музыки, мой дорогой, но не могу сдерживать в себе дрожь при одной мысли о том, чтобы куда-то выходить.

– Если ты дрожишь, то и я трепещу, но нужно ходить в оперу или уезжать в Лондон, либо в какое-то другое место. Тебе стоит только приказать.

– Возьми ложу не слишком на виду.

Я выбрал ложу второго разряда, но театр был мал, и красивой женщине невозможно было остаться незамеченной. Я сказал ей об этом, и она ответила, что не чувствует опасности быть узнанной, потому что среди имен иностранцев, бывших сейчас в Парме, список которых я ей читал, она не встретила ни одного знакомого.

Итак, Генриетта пошла в оперу, но во второй разряд, без красной обивки и свечей. Это была опера-буффо, музыка Буранелло, и актеры были великолепны. Она пользовалась лорнетом, только разглядывая актеров, не поворачивая его ни к ложам, ни к партеру. Никто, казалось, не заинтересовался нами. Так что мы возвратились домой, в гнездо мира и любви, очень довольные. Финал второго акта ей очень понравился, и я ей его обещал достать. Я обратился за ним к г-ну Дю Буа и, подумав, что она, может быть, прикаснется к клавишину, предложил ей его. Она отвечала, что никогда не училась играть на этом инструменте.

Четвертый или пятый раз, когда мы были в опере, г-н Дю Буа пришел в нашу ложу. Избегая необходимости уступить ему свое место, потому что я не хотел его представлять, я спросил, чем могу служить. Он предложил мне *spartito*¹⁰ финала, за которую я заплатил ему, сколько он запросил. Поскольку мы сидели напротив суверенов, я спросил, есть ли у него их гравюры, и поскольку он ответил, что изготовил две медали, я просил принести мне две в золоте. Он пообещал это и вышел. Генриетта на него даже не взглянула, и это было правильно, поскольку я его ей не представил; но на завтра о нем объявили, когда мы сидели еще за столом. Г-н де ла Хейе, обедавший с нами, похвалил нас за знакомство с таким знаменитым артистом. Он позволил себе вольность представить его своей ученице, при этом тот высказал все те любезности, которые обычно говорят при новом знакомстве. Поблагодарив за партитуру, она попросила его достать некоторые другие арии. Он сказал, что позволил себе прийти ко мне, чтобы представить медали, которые я нашел любопытными; говоря это, он достал из портфеля две изготовленные медали. На одной были изображены Инфанта с Инфантой, а на другой – Инфанта. Медали были хороши, мы похвалили их.

– Работа невероятная, – сказала Генриетта, – но можно поменять золото.

¹⁰ партитуру

Он скромно ответил, что они стоят шестнадцать цехинов, и она их ему заплатила, поблагодарив и попросив приходить другой раз к ужину. Нам принесли кофе.

Генриетта, собираясь положить сахару в чашку дю Буа, спросила, любит ли он послаще.

– Мадам, мой вкус такой же, как ваш.

– Вы, значит, знаете, что я люблю без сахара, и я рада, что мой вкус совпадает с вашим.

Говоря так, она не насыпает ему сахара и, положив немного в чашки де ла Хейе и мою, совсем не кладет в свою. Я чуть не прыснул от смеха, потому что плутовка, которая обычно любила очень сладкий, пила на этот раз горький, чтобы наказать дю Буа за безвкусный комплимент, который он ей отпустил, заявив, что имеет тот же вкус. Тонкий горбун, однако, не захотел выглядеть дураком. Выпивая горький кофе, он изобразил удовольствие.

После его ухода, хорошо посмеявшись с Генриеттой над этой проказой, я сказал, что она поступила глупо, сделавшись обязанной в будущем пить горький кофе каждый раз, когда будет присутствовать дю Буа. Она ответила, что сделает вид, что врач ей велел пить сладкий.

К концу месяца Генриетта говорила по-итальянски. Это было скорее результатом упражнений с Жанетон, которая служила ей горничной, чем уроков, полученных от де ла Хейе. На уроках только заучивались правила языка – для того, чтобы говорить, надо упражняться. Мы были в опере уже двадцать раз, не делая никаких знакомств. Мы жили счастливо во всех смыслах этого слова. Я выходил с ней только в коляске, и мы оба были недоступны. Я никого не знал, и никто не знал меня. После отъезда венгра единственный, кто бывал у нас за обедом, когда мы его приглашали, был дю Буа, потому что де ла Хейе бывал у нас каждый день.

Этот дю Буа очень интересовался нашими персонами, но умело скрывал свой интерес. Он говорил однажды о блеске двора дона Филиппа после прибытия Мадам и о наблюдаемом наплыве иностранцев и иностранок.

Наибольшая часть иностранных дам, которых мы видим, – говорил он, адресуясь Генриетте, – нам незнакомы.

– Возможно, если бы они были знакомы, они бы не показывались.

– Это возможно; но могу вас уверить, мадам, что если даже их туалеты или их красота сделают их заметными, пожелание суверенов целиком на стороне свободы. Я все еще надеюсь, мадам, иметь счастье видеть вас там.

– Это будет затруднительно, потому что вы не представляете себе, насколько смешно выглядит женщина, являющаяся ко двору, не будучи представленной, особенно если она прилагает к этому усилия.

Горбун промолчал, и Генриетта свернула разговор на другую тему. После его ухода она смеялась вместе со мной над этим человеком, который полагал, что скрывает свой интерес. Я сказал, что по совести она должна извинить тех, кому внушает любопытство, и она, смеясь, стала меня ласкать. Так, живя вместе и наслаждаясь радостями подлинного счастья, мы смеялись над философией, которая отрицает совершенство, потому что, говорит она, совершенство недолговечно.

– Что понимают, – спросила однажды Генриетта, – под словом «долговечно»? Если имеют в виду непрерывность, бессмертие, то они правы; но человек не таков, и счастье тоже не может быть таким: иначе любое счастье долговечно, потому что для существа необходимо только существование. Но если под истинным счастьем понимают череду разнообразных и никогда не прекращающихся удовольствий, то это ошибка, потому что в перерыве между удовольствиями, в спокойном состоянии, которое должно у каждого следовать за наслаждением, мы находим время осознать счастье в его реальности. Человек может быть счастлив, лишь когда ощущает себя таким, и он может это ощущать, только находясь в спокойном состоянии. Так что без спокойствия нельзя стать счастливым. Таким образом, удовольствие, чтобы стать таким, должно кончаться. Что хотят выразить словом «долговечное»? Мы каждый день приходим к моменту,

когда желание спать подавляет все другие желания, а сон – это настоящий образ смерти. Но мы можем быть ему признательны только тогда, когда он нас покидает.

Те, кто говорит, что никто не может быть счастлив всю жизнь, говорят так наугад. Философия учит средству творить такое счастье, если человек, стремящийся к нему, избегает болезни. То счастье, которое будет продолжаться всю жизнь, можно сравнить с букетом, составленным из нескольких цветов, которые образуют столь красивое сочетание, и столь согласное, что воспринимаются как один цветок. Что за невозможность провести так всю нашу жизнь, как мы провели месяц, здоровые и без всяких забот? Чтобы увенчать наше счастье, мы могли бы в почтенном возрасте умереть вместе, и в таком случае наше счастье было бы действительно долговечным. Но смерть в таком случае не прервет его, а закончит. Мы смогли бы ощутить себя несчастными, лишь сопоставив возможность нашего существования после конца этого самого существования, что кажется мне противоречивым. Ты согласен со мной?

Так дивная Генриетта давала мне уроки философии, рассуждая лучше, чем Цицерон в своих Тускуланских беседах; но она соглашалась, что это долговечное счастье может сбыться для двух индивидов, живущих вместе, только если они влюблены друг в друга, оба здоровы, просвещены, достаточно богаты, не имеют других обязательств, кроме как друг перед другом, и имеют сходные вкусы, примерно схожие характеры и темперамент. Счастливы любовники, которым разум способен заменять чувства, поскольку они нуждаются в отдыхе. Приходит сладкий сон, который сменяется вновь пробудившейся энергией. С пробуждением первыми проявляются чувства, готовые встать на смену разуму. Отношения между человеком и универсумом равноправны. Можно сказать, что между ними нет различия, поскольку если мы разрушаем универсум, не существует больше человека, и наоборот – если уничтожаем человека, нет больше космоса, поскольку кто в таком случае сможет иметь о нем идею? Так что если мы творим абстракцию космоса, мы не можем представить в ней существование материи, так же как, сотворив абстракцию материи, – представить существование первого.

Я был очень счастлив с Генриеттой, так же как она со мной: ни минуты скуки, ни одной размолвки, ни один розовый лепесток, пролетев между нами, не нарушил наше согласие.

На другой день после закрытия оперы дю Буа, пообедав с нами, сказал, что дает на завтра обед для двух первых актеров – мужчины и женщины, и что только от нас зависит прослушать лучшие фрагменты того, что они исполняли в театре, в сводчатой зале его загородного дома, в котором музыка ничего не теряет. Генриетта ответила ему, поблагодарив, что она настолько плохо себя чувствует, что день-два не сможет ничего предпринять, и повернула разговор на другие темы.

Когда мы остались одни, я спросил у нее, почему она не хочет пойти развлечься у дю Буа.

– Я бы пошла, дорогой друг, и с большим удовольствием, но я боюсь встретить на этом обеде кого-нибудь, кто, узнав меня, сможет разрушить наше счастье.

– Если у тебя есть какие-то новые основания для опасений, то ты права; но если это только паника, мой ангел, зачем ты доводишь себя до того, что лишаешься реального удовольствия? Если бы ты знала, какую радость я испытываю, видя тебя в восхищении и как бы в экстазе, когда ты слушаешь прекрасную музыку!

– Ну хорошо! Я не хочу, чтобы ты счел меня менее храброй, чем ты. Мы пойдем к дю Буа после обеда. Актеры не будут петь до того. Кроме того, по-видимому, не рассчитывая на нас, он не пригласит кое-кого, кто бы хотел поговорить со мной. Мы пойдем, не предупредив его, так, что он нас не будет ожидать. Он сказал, что это будет в его загородном доме, и Коданья знает, где это.

В соответствии со своим решением, которое было продиктовано осторожностью и любовью, которые столь редко приходят к согласию, назавтра, в четыре часа пополудни, мы отправились в его дом. Мы были удивлены, застав его одного с красивой девушкой, которой он нас

представил, сказав, что это его племянница, и что различные обстоятельства помешали нам увидеть все общество.

Выразив радость нас видеть, он сказал, что, не ожидая нас, он поменял обед на небольшой ужин, который, он надеется, мы почтим своим присутствием, и что *virtuosi* скоро придут. Таким образом, мы оказались приглашены на ужин. Я спросил, много ли он пригласил гостей, и он ответил с победным видом, что мы окажемся в компании, достойной нас, досадуя только о том, что не пригласил дам. Генриетта, сделав небольшой реверанс, улыбнулась. Я видел, что она смеется и выражает удовлетворение, но про себя. Ее большая душа не желала проявлять беспокойство, но, впрочем, я не думал, что она имеет действительные основания для беспокойства. Я бы думал иначе, если бы она рассказала мне всю свою историю, и я, разумеется, отвез бы ее в Англию, и она была бы ей очарована.

Четверть часа спустя прибыли два актера: это были Ласчи и ла Байони, в то время очень красивая. Затем прибыли все, кого пригласил дю Буа. Они все были испанцы или французы, все среднего возраста. Не было никаких представлений, и я порадовался по этому поводу уму горбуна; но, поскольку все приглашенные имели высокое положение при дворе, это пренебрежение этикетом не помешало тому, чтобы все оказывали Генриетте почести, присущие ассамблее, которые она принимала с непринужденностью, присущей только французам, даже в самых знатных компаниях, за исключением некоторых провинций, где часто приходится наблюдать чрезмерную чопорность.

Концерт начался превосходной симфонией, потом актеры пели дуэт, затем ученик Вандини сыграл виолончельный концерт, которому много аплодировали. Но вот что оказалось для меня наибольшим сюрпризом. Генриетта встала и, выбрав молодого человека, который играл соло, взяла у него виолончель, сказав со скромным и спокойным видом, что придаст ему еще больший блеск. Она села на его место, поставила инструмент между колен и попросила оркестр снова начать концерт. Компания затихла в молчании, а я умирал от страха, но, слава богу, никто на меня не смотрел. Что касается ее, она не осмеливалась. Если бы она подняла на меня свои прекрасные глаза, она бы потеряла свой кураж. Но когда я увидел, как она заняла позицию, собираясь играть, я понял, что это шутка, затеянная, чтобы развлечь стол, который был на самом деле очарован; с первым ударом смычка я почувствовал, что от сильного сердцебиения могу умереть. Генриетта, зная хорошо меня, не могла поступить иначе, чем не смотреть на меня.

Но что стало со мной, когда я услышал, как она играет соло, и когда после первого фрагмента аплодисменты почти заглушили оркестр? Неожиданный переход от опасений к безудержному удовольствию вверг меня в пароксизм, вдвое сильнее самой сильной лихорадки. Эти аплодисменты не произвели на Генриетту ни малейшего впечатления, по крайней мере, с виду. Не отрывая глаз от нот, которые она узнала, только следя за ними во время концерта, когда играл профессор, она поднялась, только сыграв шесть сольных партий. Она не поблагодарила компанию за аплодисменты, а только, повернувшись к профессору с достойным и грациозным видом, сказала, что не играла никогда на лучшем инструменте. После этого комплимента она сказала со смеющимся видом присутствующим, что они должны извинить ее за тщеславие, которое заставило ее продлить концерт еще на полчаса.

Этот комплимент меня окончательно сразил, я выскочил в сад, чтобы поплакать там, где никто не мог меня видеть. Кто же, наконец, Генриетта? Кто она, это сокровище, обладателем которого я стал? Мне казалось невозможным быть этим счастливым смертным.

Потерянный в таких размышлениях, которые лишь удваивали наслаждение от моих рыданий, я оставался бы там еще долго, если бы сам дю Буа не пришел, разыскивая меня и найдя, несмотря на ночной мрак. Он позвал меня ужинать. Я успокоил его, сказав, что небольшое головокружение заставило меня выйти подышать воздухом.

По дороге я имел время осушить слезы, но не вернуть натуральный блеск глазам. Никто, однако, ничего не заметил. Одна Генриетта, видя мое возвращение, сказала мне с нежной улыбкой, что знает, что я делал в саду. За столом я сидел напротив нее.

Этот дю Буа-Шательро, директор монетного двора Инфанта, созвал у себя самых приятных сеньоров двора, и ужин, который он дал, без излишеств, но с хорошим выбором, был из самых тонких. Поскольку Генриетта была единственной дамой, естественно, все внимание уделялось ей, но даже если бы присутствовали дамы, она была создана, чтобы всех их затмевать. Если она удивляла всю ассамблею своей красотой и своим талантом, она кончила за столом тем, что очаровала всех умом. Г-н дю Буа совсем не говорил; ему казалось, что он автор пьесы, он ей гордился и считал себя обязанным сохранять скромное молчание. Генриетта проявляла такт, распространяя свое очарование равномерно на всех, и вкус, при каждом изящном высказывании предоставляя мне партию. Я, со своей стороны, прекрасно демонстрировал покорность и самое глубокое уважение по отношению к этому божеству: она хотела, чтобы каждый понимал, что я – ее оракул. Можно было подумать, что она моя жена, но этого нельзя было заключить из моего поведения по отношению к ней. Возник вопрос о сравнительных достоинствах испанской и французской наций, и дю Буа довольно легкомысленно обратился к ней с вопросом, какой из них она отдает предпочтение. Вопрос не мог быть более бестактным, потому что половина собеседников были испанцы, а другая – французы; но несмотря на это, она говорила так хорошо, что испанцы захотели быть французами, а французы – испанцами. Дю Буа, неудовлетворенный, попросил ее сказать, что она думает об итальянцах, и я почувствовал тревогу. Месье де ла Комбе, сидевший с моей стороны, сделал движение головой, отвергающее вопрос, но Генриетта не дала ему закончить.

– Об итальянцах – ответила она с нерешительным видом, – я не могу ничего сказать, потому что знаю только одного, и одного примера недостаточно, чтобы поместить нацию над всеми прочими. Я был бы последним глупцом среди людей, если бы дал малейший признак того, что слышал этот превосходный ответ Генриетты, и еще большим дурнем, если бы не пресек неприятное рассуждение г-на де ла Комбе банальным вопросом о вине, налитом в наши бокалы.

Заговорили о музыке. Один из испанцев спросил у Генриетты, играет ли она, помимо виолончели, на каком-либо другом инструменте, и она ответила, что была склонна только к этому.

– Я этому обучалась в монастыре, – сказала она, – чтобы доставить удовольствие моей матери, которая играет на нем довольно хорошо, но, без прямого указания моего отца и согласия епископа, мать-аббатисса не давала разрешения на обучение.

– И какие соображения выдвигала эта аббатисса против разрешения?

– Эта благочестивая невеста нашего Господа утверждала, что я могу удерживать инструмент, только находясь в неприличной позе.

При этом доводе аббатиссы я заметил, как испанцы закусили губы, а французы подавили смешок. После нескольких минут молчания Генриетта сделала движение, собираясь подняться, все встали и через четверть часа мы уехали. Дю Буа провожал ее почти до ступенек коляски, повторяя бесконечные комплименты.

Мне не терпелось сжать в своих объятиях этого идола моей души. Я не оставил ей времени ответить на все вопросы, что я ей задал.

– Ты была права, – сказал я ей, – не желая туда идти, потому что ты наверняка наделала мне врагов. Меня должны теперь смертельно ненавидеть; но ты – мой мир. Жестокая Генриетта! Ты совершила ошибку, убив меня своей виолончелью. Не находя твоей обычной скромности, я решил, что ты сошла с ума, и, послушав тебя, я должен был выйти, чтобы скрыть слезы, которые ты исторгла из моего сердца. Скажи мне теперь, умоляю, какие еще у тебя есть

таланты, которые ты скрываешь и которыми отличаешься, чтобы, проявившись, они не заставили меня умереть от страха или удивления.

– Нет, моя любовь, у меня нет никаких других, я опустошила свой запас, и теперь ты знаешь твою Генриетту целиком. Если бы ты не сказал мне, месяц назад, что не хочешь никакой музыки, я бы сказала, что владею этим инструментом. Если бы я так сказала, ты достал бы мне его, и я не заинтересовалась бы им в условиях, которые могут быть тебе неприятны.

Не позднее, чем назавтра я пошел искать для нее виолончель, и очень хорошо, что она заставила меня это сделать. Невозможно, чтобы человек, не имеющий решительной склонности к музыке, не стал ее поклонником, когда другой, владеющий ею в совершенстве, был объектом его любви. Человеческий голос виолончели, превосходящий голос любого другого инструмента, доходил мне до сердца, когда на ней играла Генриетта, и она в этом каждый раз убеждалась. Она доставляла мне это удовольствие каждый день, и я предлагал ей давать концерты, но она имела осмотрительность никогда не следовать моим советам. Несмотря на это, судьба следовала своим путем. *Fata viam inveniunt*.

Роковой дю Буа явился на следующий день после своего милого ужина, благодаря нас и, в то же время, выслушивая от нас похвалы своему концерту, ужину и гостям, которых он пригласил.

– Я предвижу, мадам, огорчение, которые вызову, воспротивившись настояниям, с которыми меня будут просить вас представить.

– Ваше огорчение, месье, не будет слишком большим, потому что вы ответите в двух словах. Вы знаете, что я никого не принимаю.

Он не осмелился более говорить о представлении. Я получил тем временем письмо от молодого Капитани, в котором он сообщал, что будучи обладателем ножа Св. Петра в ножнах, он направился к Франсиа с двумя учеными, которые были уверены, что извлекут сокровище, и был удивлен, когда его не приняли. Он просил написать ему, и даже явиться лично, если я хочу в этом участвовать. Я ему не ответил. Я был обрадован тем, что этот добрый крестьянин, не забыв мой урок, оказался защищен от дураков и жуликов, которые бы его разорили.

После ужина у дю Буа мы провели три или четыре недели, погруженные в счастье. В нежном единении наших душ ни на один пустой миг не возникало того грустного состояния, которое называется скукой. Единственным нашим развлечением были прогулки в коляске за город, когда была хорошая погода. Поскольку мы никогда не сходили и не ходили пешком, никто ни в городе ни при дворе не мог с нами познакомиться, несмотря на существовавшее всеобщее любопытство и желание, проявленное теми, кто ужинал у дю Буа. Генриетта стала смелее, и я более уверен, когда не встретилось никого знакомых ни в театре, ни на ужине. Она опасалась встретить того, кто мог бы ее разоблачить, лишь среди знати.

Однажды, когда мы прогуливались за воротами Голорно, мы встретили Инфанта герцога с герцогиней, возвращавшихся в Парму. Полсотни шагов за ними мы встретили коляску, в которой увидели некоего сеньора с дю Буа. В момент, когда мы с ними поравнялись, одна из наших лошадей упала. Сеньор, сидящий рядом с дю Буа, закричал: «Стой!», чтобы помочь нашему кучеру, который мог нуждаться в помощи. Благородный и вежливый, он обратился сначала с обычным комплиментом к Генриетте, и дю Буа, не теряя ни мгновенья, сказал: «Мадам, это г-н Дютийо». Ответом Генриетты был обычный кивок. Лошадь поднялась, и через минуту мы последовали своей дорогой. Эта совсем обычная встреча не должна была иметь никаких последствий, но вот что случилось.

На другой день дю Буа пришел к нам завтракать. Он начал с того, что сказал нам без всяких экивоков, что г-н Дютийо очарован, что счастливый случай доставил ему удовольствие познакомиться с нами, и поручил ему испросить нашего позволения нас посетить.

– Мадам или меня? – сразу уточнил я.

– Того и другого.

– В добрый час, – возразил я, – но только одного за раз, поскольку мадам, как вы видите, обитает в своей комнате, а я в своей. Скажу вам также, что это я пойду к этому министру, если он хочет дать мне некие распоряжения или что-то мне сообщить, и прошу вас сказать ему это. Что касается мадам, – вот она, поговорите с ней. Я всего лишь, дорогой месье дю Буа, ее смиренный слуга.

Генриетта спокойным и очень вежливым тоном говорит г-ну дю Буа поблагодарить г-на Дютийо, и одновременно спрашивает, знает ли он ее.

– Я уверен, мадам, что он вас не знает.

– Вот видите? Он меня не знает, и хочет нанести мне визит. Согласитесь, что если я его приму, я сойду за авантюристку. Скажите ему, что хотя меня никто не знает, я не такая, и потому не могу иметь удовольствия его принять.

Дю Буа, осознав свою ошибку, промолчал, и в последующие дни мы у него не спрашивали, как министр воспринял наш ответ.

Спустя две или три недели двор, находясь в Колорно, дал, не помню, по какому поводу, превосходный праздник, на котором разрешили всем прогуливаться в садах, которые должны были быть иллюминированы всю ночь. Дю Буа много нам говорил про этот публичный праздник, полагая, что мы пойдем, и он сам будет нас сопровождать в нашей коляске. Мы прибыли туда накануне и остановились в гостинице.

К вечеру мы отправились на прогулку в сады, в которых, по случайности, находились суверены с большой свитой. Мадам Инфанта, следуя обычаю французского двора, сделала реверанс Генриетте, прежде чем та ее заметила, следуя своим путем. Я увидел кавалера ордена Св-Луи, который, идя рядом с доном Филиппом, с большим вниманием смотрел на Генриетту. Возвращаясь обратно, мы встретили на середине аллеи того же шевалье, который, отвесив нам изысканный реверанс, попросил г-на дю Буа выслушать от него несколько слов. Они говорили с четверть часа, следуя за нами. Мы шли к выходу, когда этот шевалье, ускорив шаги и попросив у меня очень вежливо прощения, спросил у Генриетты, не имел ли он счастья быть знаком с нею.

– Месье, я не имею чести вас знать.

– Мадам, я д'Антуэн.

– Повторяю, месье, я никогда не имела чести вас видеть.

– Достаточно, мадам; умоляю меня простить.

Дю Буа сказал нам, что этот месье, не имеющий никакой должности при дворе, близкий друг Инфанта, просил дю Буа представить его мадам, полагая, что знает ее. Тот сказал, что ее зовут д'Арси, и что если он ее знает, он и сам может нанести ей визит. Г-н д'Антуэн ответил, что имя д'Арси ему незнакомо, он бы не хотел ошибиться и в этой неуверенности, желая прояснить ситуацию, представится сам.

Так что, – сказал дю Буа, теперь, когда он знает, что мадам с ним не знакома, он должен увериться, что ошибался.

После ужина, видя, что Генриетта, кажется, спокойна, я спросил, не кажется ли ей, что она знает г-на д'Антуэн.

– Совсем не кажется. Мне знакомо это имя. Это фамилия, известная в Провансе, но его лично я не знаю.

– Может ли быть, что он тебя знает?

– Может быть, он меня видел, но наверняка со мной не разговаривал, потому что я бы его узнала.

– Эта встреча меня тревожит, и мне кажется, что и ты обеспокоена. Покинем Парму, если хочешь, и уедем в Женеву, а когда мое дело будет улажено, вернемся в Венецию.

– Да, дорогой друг, нам будет спокойнее. Но думаю, нам нет нужды торопиться.

На другой день мы были на маскараде, а на следующий день вернулись в Парму. Два-три дня спустя, молодой слуга Коданья отдал мне письмо, говоря, что курьер, который его принес, ждет за дверью, чтобы получить ответ.

– Это письмо, – сказал я Генриетте, – меня беспокоит.

Она взяла его и, прочитав, вернула, сказав, что полагает г-на д'Антуэн человеком чести и, соответственно, нам нечего опасаться. Вот это письмо:

– «У вас, месье, либо у меня, или где вы захотите, в час, который вы назовете, прошу позволить мне сказать вам кое-что, что должно вас очень заинтересовать. Имею честь, ваш покорный слуга, и т. д. д'Антуэн. Г-ну Фаруччи»

– Я думаю, – сказал я Генриетте, – что должен его выслушать. Но где?

– Не здесь и не у него; но в дворцовом саду. Письмо должно содержать только время, которое ты ему назначишь.

В соответствии с этим мнением, я написал ему, что буду в одиннадцать с половиной часов в первой аллее герцогского сада, попросив, чтобы он назначил мне другое время, если это ему неудобно. Одевшись и подождав час, я направился на место свидания. Мы оба старались казаться спокойными, но оба волновались. Нам не терпелось узнать, что происходит.

В одиннадцать с половиной часов я увидел, как на аллее появился г-н д'Антуэн, один.

– Я был вынужден, – сказал он, – воспользоваться вашей любезностью, поскольку не мог найти другого более надежного средства, чтобы доставить м-м д'Арси это письмо. Я вынужден просить вас передать его ей и не счесть за обиду, что передаю его вам запечатанным. Если я ошибаюсь, ничего страшного, и мое письмо не требует ответа, но если я не ошибся, только дама вольна разрешить вам его прочесть. Поэтому оно запечатано. То, что в нем содержится, если вы действительно друг мадам, должно вас заинтересовать так же, как ее. Могу я быть уверен, что вы его ей передадите?

– Месье, даю вам в этом слово чести.

Глава V

Генриетта принимает г-на д'Антуэн. Я теряю эту любимую женщину и провожаю ее до Женева. Я пересекаю Сен-Бернар и возвращаюсь в Парму. Письмо Генриетты. Мое отчаяние. Де ла Хэйе привязывается ко мне. Неприятная авантюра с актрисой, ее последствия. Я становлюсь святошей. Бавуа. Мистификация с офицером-фанфароном.

Пересказав Генриетте слова г-на д'Антуэн, я передал ей письмо, содержавшее четыре страницы. Она сказала мне, прочтя его, что честь двух фамилий не позволяет ей дать мне его прочесть, и что она должна принять г-на д'Антуэн, который приходится ей родственником, как она теперь поняла.

– Итак, – сказал я, – вот начало последнего акта. Несчастный! Какая катастрофа! Наше счастье пришло к концу. Зачем мы так долго оставались в Парме? Какое ослепление с моей стороны! По всем обстоятельствам во всей Италии не было места более опасного, чем это, и я отдал ему предпочтение перед всей остальной землей, потому что везде, за исключением Франции, как я понимаю, никто бы ничего не знал. Тем более несчастный, потому что это была целиком моя ошибка, потому что ты не имела другой воли, кроме моей, и ты никогда не скрывала своих опасений. Но мог ли я совершить более грубую ошибку, чем позволить дю Буа сблизиться с нами? Я должен был предвидеть, что этот человек в конце концов преуспеет в удовлетворении своего любопытства, слишком естественного, чтобы я мог поставить его ему в вину, но которое однако никогда бы не возникло, если бы я не позволил ему зародиться, и возросшее, когда он получил к нам полный доступ. Но зачем думать сейчас обо всем этом, когда у нас нет больше времени? Я предвижу, что произойдет все, что можно себе вообразить самого печального.

– Увы! Мой дорогой друг, прошу тебя ничего не предугадывать. Мы можем единственно быть выше любых событий. Я не отвечу на это письмо. Ты должен написать ему, чтобы он явился сюда днем, в три часа, в своем экипаже, так, чтобы о нем доложили. Ты будешь со мной, когда я его приму, но четверть часа спустя уйдешь в свою комнату под каким-нибудь предлогом. Г-н д'Антуэн знает всю мою историю и мои ошибки, но также и мои резоны, что обязует его, как человека чести, гарантировать меня от любого оскорбления, и он ничего не сделает без моего согласия, и если он думает отступить от правил, которые я ему продиктую, я не поеду во Францию: мы отправимся вместе, куда ты захочешь, на весь остаток наших дней. Да, мой дорогой друг. Но подумай о том, что фатальные обстоятельства могут заставить нас счесть за лучшее наше разделение, и что в таком случае мы должны принять это решение таким образом, чтобы осталась надежда, что мы не сделаемся несчастны. Доверься мне. Будь уверен, что я постараюсь повести дело таким образом, чтобы оно окончилось наиболее благоприятным из возможных образом, если уж я вынуждена думать о жизни без тебя. Ты должен также позаботиться о такой возможности в будущем, и я уверена, что ты справишься; но в ожидании этого отринем от нас, по возможности, грусть. Если мы отложим наш отъезд хотя бы на три дня, это будет ошибкой, потому что г-н д'Антуэн, возможно, решит проявить усердие по отношению к моей семье, известив ее о моем местопребывании и произведя розыск, в результате чего я могу столкнуться с насилием, которого твои чувства не смогут перенести; но впрочем, Бог знает, что будет.

Я сделал все, что она хотела, но с этого момента наша любовь подернулась грустью, а грусть – это такая болезнь, которая ведет ее к смерти. Мы часто проводили целый час друг с другом, не произнося ни единого слова.

На другой день, по прибытии г-на д'Антуэн, я в точности последовал ее инструкциям. Я провел в одиночестве, пытаясь писать, шесть утомительных часов. Моя дверь была открыта, зеркало, через которое я их видел, позволяло также им видеть меня. В течение этих шести

часов они писали, прерывая часто процесс письма обсуждениями, должно быть важными. Я не ждал ничего хорошего.

После отъезда г-на д'Антуэн Генриетта подошла к моему столу и улыбнулась, видя, как я смотрю на ее глаза, ставшие огромными.

– Хочешь, чтобы мы отправились завтра?

– Я этого очень хочу. Куда мы едем?

– Куда захочешь; но мы вернемся сюда через две недели.

– Сюда?

– Увы! Да. Я дала слово быть здесь к моменту, когда придет ответ на письмо, которое я написала. Могу тебя заверить, что мы можем не опасаться никакого насилия. Но, дорогой друг, я не могу больше страдать в этом городе.

– О! Я его ненавижу. Хочешь, мы поедем в Милан?

– Прекрасно, в Милан.

– И поскольку мы должны сюда вернуться, Коданья и его сестра могут ехать с нами.

– Очень хорошо.

– Позволь, я займусь этим. У них будет коляска, в которой повезут твою виолончель; но мне кажется, что ты должна дать знать г-ну д'Антуэн, куда ты едешь.

– Мне кажется, наоборот, я не должна давать ему никакого отчета. Тем хуже для него, если он может сомневаться в моем возвращении. Вполне достаточно того, что я обещала ему быть здесь.

На другой день утром я купил чемодан, в который она сложила все, что могло ей понадобиться, и мы отправились, в сопровождении наших слуг, сказав г-ну Анремон запереть наши апартаменты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.